

Андрей Виноградов



В Портофино,
и там...

Андрей Виноградов
В Портофино, и там...

«Автор»

2019

Виноградов А. Г.

В Портофино, и там... / А. Г. Виноградов — «Автор», 2019

Жизнь – как море, а иногда – как океан. «В Портофино, и там...» – авантюрный роман и о море, и о его пастве, которая волны выбирать – отправиться в плавание или отсидеться на берегу. Герой книги – тонкий наблюдатель, романтик, мечтатель, трогательно рассматривающий пространство жизни вокруг, словно полотно талантливого художника. Сам он почти не вмешивается в течение жизни, но преобразует его движением своей мысли. Эта книга увлекательно и изящно, с удивительным юмором и иронией описывает приключения совершенно разных людей и забавных, сумасшедших животных, среди которых выделяется жизнь-интрига кота Отто, авантюрного и неунывающего вислоухого «скоттиша». Книга «В Портофино, и там...» сама по себе – невероятное приключение, глоток ледяного шампанского летом и согревающего красного вина зимой. Она никого не оставит равнодушным, а для любителей кошек превратится буквально в наркотик.

© Виноградов А. Г., 2019

© Автор, 2019

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
ШАЛОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ	6
В ОКЕАНСКИХ ПОДМЫШКАХ	10
ВТОРОЙ МОКАСИН	12
СОЗЕРЦАТЕЛЬ	13
МАЕТА	15
СИБАСТИАН	17
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА	19
ПРАВИЛА КОКПИТА	20
ПРЕДЧУВСТВИЕ ДОБРОГО УТРА	21
ПРОИЗНОШЕНИЕ ВАЖНО	22
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	25
ТРЕБУЕТСЯ МОЗГ	25
ПЕЙЗАНКА	26
КОТ	29
ПАТРОН БЕЗ ПУЛИ	31
«КОТТО» СКОРЕЦЕНИ	32
ЖИЗНЬ В КАМНЕ	33
ЗАБОТЫ ГОСПОДНИ	35
МАТЕМОРФОЗЫ	38
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	41
ГНОМ ЖИВ	41
ШУМПОМАТЕРИ	42
ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ	43
СТАРЫЕ ВЕЩИ	44
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ	46
ДОЛГ ВЕТЕРАНА	47
КОНЕЦ ФИЛЬМА	48
МАГИЯ УРОКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ДЕТСТВЕ	50
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ	51
КВОТЫ, ДЕФИЦИТЫ, ДОЛГИ...	52
НАБРОСКИ	54
НИНО И ЕГО МЕБЕЛЬ	55
КОМПЛЕКСЫ ЗОРРО	58
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	59
ФАЙЛ	59
ЧУДНОЙ КНИГОЧЕЙ	69
БЕЗНАДЁГА	70
НЕМНОГО О РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ	71
ЛЕВЫЕ НОГИ	72
ОТ «ЗВЕЗДОЧЕК» ВНИЗ...	73
ПОДВОДНИКИ	82
ЧАСТЬ ПЯТАЯ	84
ПАСТУХ	84
ДИЕТА ВАЛЬКИРИЙ	86
ПАСТЕЛЬНЫЙ ТИП	88

Конец ознакомительного фрагмента.

89

Андрей Виноградов

В Портофино, и там...

В конечном итоге вся эта история вышла сплошной выдумкой, кроме, пожалуй, одного, от силы двух моментов. По правде сказать, уже и сам не помню – каких именно. Однако, Господь свидетель, пока выдумывал, казалось, что выдумываю чистую правду.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ШАЛОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ

Есть ли хоть что-то в этой жизни, чего не могу я себе представить ни при каких обстоятельствах? Как ни быть?! Разумеется есть! К примеру, президент только что обратился к народу по поводу начала войны или роста налогов – без разницы, лишь бы повесомее новость, – а теперь, переодетый в домашнее, он держит носки на вытянутой руке, морщится, приносясь издали, решает, стоит ли надевать их завтра, во второй раз. Совершенно, кстати говоря, любой президент, безразлично какой страны. Никаких намеков. Так вот: событие представить могу, а запах – нет. Масштаба личности не достает.

С таким ярко выраженным дефектом воображения и робкой самооценкой я неведомо как дотянул до очередного в своей жизни «пятьдесятневажнокакого» лета и отправился в одиночное плавание по Средиземному морю в надежде, что мои ничтожные по сути своей недостатки и на этот раз не помешают извлечь из заведомой авантюры львиную долю предвкушаемых удовольствий. Напланировал их я, надо сказать, не густо, меньше, чем заслужил, тем не менее и от этих сдержанных, скромных фантазий мое природное благоразумие с завидной готовностью впадало в тоску и отчаяние. Общий тонус, однако, от этого не страдал, что важно.

Стою теперь на причале – дурак дураком: в одной руке багор, в другой – желтая, тридцать на сорок, если в сантиметрах и «на глаз», наглухо задраенная пластиковая сумка с оранжевой надписью на английском «Грэб Бэг». Что-то вроде «Хватай-беги». Возможно, в такой клади – по предназначению, а не по виду – в мою родную речь затемно контрабандой пронесли понятие «заграбастать». Правда, могло случиться – слово это пошло от нас, иноземцы лишь тару под него подогнали. В таком случае мне, москвичу, страстно хочется заподозрить у слова и им обозначенного явления петербургские корни, продискутировать с кем-нибудь из единомышленников эту тему, но нет уверенности, а раз нет уверенности, то и не спорю. Во-первых, не с кем. Во-вторых, я не филолог, да и спорщик из меня убогий – все норовлю поскорее выпить на мировую.

Нервничаю, от этого всякая ерунда и лезет в голову, хотя причин никаких, я всего лишь жертва обстоятельств и весьма острого, с поправкой на возраст, зрения: два с половиной – три, «плюс» Полагаю, примерно такое же у орла... с приличным налетом. Не у орленка, заметьте, какого зачуханного, жизни еще не вкусившего, а у орла!

Вобщем, углядел «орел» сумочку... Приперло раньше всех прочих на сушу сойти... Размяться, видите ли, решил, восстановить жизнедеятельность организма, а тому только пива подай, остальное без надобности. Будто первый раз...

Я еще раз осматриваюсь. Никаких перемен. Причал был по-прежнему неопрятен и пуст как старушечий рот.

Наверное, со стороны я напоминаю сильно подросткового – «почти до старости» – деревенского чудака из «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»: багор сойдет за орудие лова, нехитрая добыча в руках, лицо выражает... С этого места, пожалуй, появляется заметное расхождение с киношным персонажем, причем сразу весьма драматическое; будто идешь по воде – все по колено да по колено, потом – раз, и омут... Нет на моем лице никакой наивности или вопрошающей туповатости, как у героя, произносившего «А чё это вы тут делаете, а?», или «А чё это вы *здесь* делаете, а?» – за точность цитаты не поручусь, надо бы надо пересмотреть кино. Сегодня моим лицом распоряжаются по своему усмотрению здоровая тупость и нездоровая бледность. Противно сознавать, насколько ладно они сосуществуют. Моя бывшая половина – выученный художник – портретист, «работавшая» барских детей и собак с фотографий, и сменившая на пике карьеры палитру на молоточек аукциониста, наверное оценила бы меня сегодняшнего в следующих выражениях: «Наборосок бессмысленного, выцветшего лица в серо-зеленых тонах. Очень реалистично и достоверно. Мне можете верить, я лично была знакома с натурщиком. И уверяю вас, это недорого, стартовая цена весьма и весьма умеренна. Обратите внимание, как искусно выполнены глаза – вроде живые, но без всякого выражения; седые пряди забраны на затылке в хвост – такие же блеклые; морщины старого сластолюбца...» Наверное сейчас я даже у «бывшей» вызвал бы толику сострадания и вымолил бы, если не пиво, она его терпеть не могла, обзывала «пойлом для завивки на бигуди», то хотя бы тарелку каши с немушкетерским названием «размазня» и ехидным довеском вдогонку – «Вот вас и двое».

На самом деле я совершенно не голоден, про жену вспомнил из-за скоротечного приступа жалости к себе самому; с чего бы еще? Уже, слава Богу, отпустило. Подумал – само по себе обнадеживающий симптом, – что «Сотбис» – отличная кличка для собаки и даже попрактиковался негромко: «Сотбис! Сотбис, ко мне! Сотбис, дай! Лежать, Сотбис! Фу, Сотбис!» Классно! Но ради имечка собаку заводить вряд ли стоит.

От сумки и багра ощутимо несет соляжкой, значит и от меня теперь тоже, а нужен совсем другой дух – надежды. Вот раздастся прямо сейчас с одной из лодок радостный вопль узнавания желтой поклажи и ошастливленный растеряха выставит соседу стаканчик чего-нибудь. Уж я бы точно не поспешил, за спасенное-то имущество. Это же настоящий тост: «За спасенное имущество!» Гуси, наверное так отмечали спасение Рима. Их начинали гречневой кашей и обкладывали кислой капустой, а они отмечали... Отмечали в людях недостаток человечности и черную неблагодарность. Думали, наверное, открытие... Интересно, в американском суде употребляют это словосочетание, или это исключительно русская образность, в всем градации... Сука ты, к примеру, или сука ты полная... Это я, скорее всего на случай, если прямо сейчас объявляется владелец «Грэб бэга», получает его от меня из рук в руки и говорит: «Спасибо». А я стою, в руках более ничего. А он еще раз: «Спасибо». Что еще мне ему сказать? «Пожалуйста, рад услужить»... Нетушки! Пусть без тостов, можно вообще без соблюдения натужных приличий, если втягость... Просто и по-быстрому, по-людски: «Давай сумку – держи выпить». А я ему – «На! Давай!» Можно и молча, в конце концов главное – внутренний темп и непрерывность действия: «давай- держи-на-давай». Сколько скрытой эмоции, с ума сойти...

Дух надежды стек с лицемерных небес, нынче обидно ратующих за здоровый образ жизни, построился в воздухе невидимыми ручейками, поизголялся недолго – мне даже показалось, шепоток расслышал: «Поправиться чай мечтаешь, болезный...» – и сдуло его, как это сплошь и рядом бывает, в бесконечно открытое море. Круглые сутки, заметьте, открытое... Пожалуй, и хорошо, что сдуло именно в море: там без надежды вообще никак, труба!

Чувствую себя как артист, вчера утверждённый на главную роль вместо своего самого близкого друга – такое вот тяжелое и одинокое, подчеркиваю, похмелье. Оно же, с другой стороны, тяжелое похмельное одиночество. Очень тяжелая форма. «Тяжелое» – ключевое определение. Поддавшись случайному проблеску мысли и секундному искушению, быстро взве-

шиваю на руке желтую сумку, качаю несильно, но резко. Прислушиваюсь... Увы: по весу, по отсутствию звуков внутри – шансов практически нет, ноль, голяк. Шельмует, лукавый, тешится. Откуда им, шансам, взяться, если у меня у самого такой же «Грэб Бэг», только размером меньше, и в нем все как в этом, как предписано – вода, аптечка, ракетница, компас... Ничего стрессопоглощающего. Совершенно бесполезный набор, руль и цепь без велосипеда. Сегодня же, если выживу, пересмотрю комплектацию, заочно поспорю с авторитетами и переработаю список того, что необходимо для спасения. В каждом деле необходим творческий подход. Выдумали, яйцеголовые, – компас, ракетница... Одно слово – иностранцы. Наши люди по трезвому делу из ракетниц не палят, а выпьют – все, что стреляет лучше убирать от них подальше, прятать.

Я еще раз напрягаю орлиное зрение и, добившись-таки от окружающего мира относительной четкости, обвожу взглядом короткой неровный строй потрепанных ночным штормом яхт. Даже мне, похмельному и, если без шуток, подслеповатому, особенно по утру, заметно, что некоторым изрядно досталось – царипины, свежие сколы на бортах купальных платформ. В стороне от причала несколько лодок и вовсе валяются на камнях как киты-самоубийцы. Чуть выше их – матрос из портовой администрации. По-видимому, охраняет имущество. Мудро: курорт кишмя кишит богатыми людьми, которые уже и не помнят, с чего начинали; а ну как, ностальгируя на досуге, вспомнят?

Бодро машу матросу желтой сумкой – вполне возможно, что оттуда ее и пригнало, волной или течением, но он отворачивается от меня и закуривает. Не видит, наверное, или как раз наоборот. Да нет, скорее всего, лицо от ветра спрятал, чтобы прикурить сподручнее. Да пошел он... Толкового сторожить не поставят. Я показываю ему средний палец и, поскольку мне кажется, что именно сейчас он меня заметил, старательно делаю вид, что таким незатейливым способом устанавливаю направление ветра. Еще больший идиот чем он.

Слава Богу, в моем ряду затонувших нет. Это и впрямь удача. Здешний порт печально известен коварством невысокого причала с припрятанной под водой гранитной ступенью. Такое впечатление, что обустроивали эту природную гавань, когда море на метр-полтора было мельче нынешнего, но, если знания мне не лгут, а знания неподкупны, все было с точностью «до наоборот».

Телеграфно, не вдаваясь в подробности: на высокой волне и при ветре, беспрепятственно задувающим в бухту с Северо – Востока, легче-легкого разгромить корму о причал и перекрыть винты в нечто совсем непотребное, типа свастики. Конечно, бывалые знают: можно отодвинуться от причала до потери возможности на него перебраться, носовой канат – булинь – натянуть до предела, чтобы струной звенел между лодкой и многотонной цепью, проложенной по дну бухты, потом напиться в хлам, не дожидаясь ужина, и проспять все светопреставление. Мое, кстати сказать, обожаемое плавсредство – в целостности и сохранности, ни единой свежей отметины.

Тремя меткими плевками привычно сметаю с левого плеча самодовольное лохматое существо, бормочущее в млеющее ухо всякую несуряцицу про сплав зрелого опыта и везения. Надо сказать, в моем состоянии обостренного восприятия собственного несовершенства, резкие движения головой категорически противопоказаны, и беспокойство не заставляет себя ждать. Странно, проявляется оно не в висках, даже не в желудке, а ниже... Ничего подобного – гораздо ниже: мизинец правой ноги явно отсыревает, в то время, как все прочие девятнадцать обитателей пары обуви пребывают в комфорте и сухости. Внимательно отслеживаю по джинсам маршрут натекшей с желтой находки жижи, то есть портовой морской воды...

«Вот дерьмо... Так и есть – прохудился, гад...»

Не раздумывая бью по несуществующему мячу. Выходит суетливо и неказисто, однако достаточно для того, чтобы обувка, утратившая хозяйское доверие, описала короткую дугу и

плюхнулась в соленую муть возле причала, почти на то самое место, где немногим раньше дрейфовал ярко-желтый предмет. Получилось.

«Какая же я свинья», – справедливо думаю о себе.

В ОКЕАНСКИХ ПОДМЫШКАХ

Море в порту – это маленькие моря, вечные моря-детеныши. Чаще слабые, беззащитные, так и не научившиеся как следует хитрить, путать метеосводки, коварно заманивать простодушных путешественников в смертельно опасные ловушки, мускулами поигрывать. Было бы чем поигрывать... С другой стороны, развернуться им толком негде: отобьют раз – другой бока о бетон, о камни, заплутают в винтах бронзовых, в якорных цепях запутаются – у кого хочешь задор и иссякнет. Лучше всего у них выходит – прятаться от моряков в плохую погоду. Мелюзга. Но им такая жизнь нравится – спокойно, как у океана в подмышке.

Случается, конечно, что разбивают моря-детеныши корабли и кораблики о причал. Но не со зла. Как младенцы неваляшку об пол. И вообще, если честно, такое дело редко без матушки их обходится, без матери-моря, в смысле.

Тихони и лентяи у нее – матери-моря – не в чести. За всеми она доглядывает, но за этими – с особым пристрастием. Если кто, несмотря на все материнские понукания, решит отлежаться по-тихому в сторонке от бури, то прорвется мать-море через все преграды – дамбы, плотины, заросли волнорезов – и уж тогда только держись, никому не сдобровать! Хаос! Знал бы кто, что на самом деле до лодок и людей нет матери-моря ровным счетом никакого дела... Это она так опрысков своих нерадивых на путь истыный наставляет, воспитывает. Слабое, конечно, утешение выходит для пострадавших от морской педагогики, но уж какое есть.

Маленькие моря, из тех что похитрее, стараются лишний раз мать- море не злить, шкодят себе понемногу, но без фанатизма, не беснуются. Аккурат, чтобы в лежебоки не записали. То велосипед умыкнут, что с краю, у самой воды оставлен... Исключительно из вредности стащат, нечего, мол, зевать. На что море велосипед? Катерок старенький или яхточку, какая поменьше, чтобы не особенно напрягаться, притрут бортом к причалу наждачному – пусть почешутся, невымытые. Другие лодки пораскачивают как следует, глядишь – и избавили какую от опеки веревочной, перетерлись канаты... Течениями такую зашкелотать – одно удовольствие. Если же матушка всерьез за бетонной стеной бушует, то в угоду ей можно напозволять себе чего-нибудь экзотического, ценит она в своих детях выдумку. Например, до столиков-стульев из портовых кафе добраться и с собой уволочь. Мебель всегда к месту: пикники у подводной живности чуть ли не каждый день – с лодок бросают всякую всячину, детвора хлеб в воду крошит, а порой и рестораны на обеды расщедриваются, все понемногу вкусьеньким балуют... К тому же, живут недолго, потому дни рождения справляют каждые четверть часа. А мебели катастрофически не хватает. Приходится рыбешкам, креветкам и прочим кальмарчикам на плаву есть. Диетологи из малюсков ругают их, настаивают, что это неправильно.

Люди, щедрые на еду, с мебелью отчего-то жадничают, большую часть пропаж умудряются отыскать, проявляя недюжинное упорство, и вытащить из воды. Тут, правда, свои хитрости есть – затянуть то, что приглянулось, поглубже под причал и илу сверху побольше навалить. Одноглазые люди с рыбьими хвостами вместо ног страсть как не любят заплывать под причалы. И правильно: нечего им там делать, там для них – сплошные ловушки: острые углы, железки торчат отовсюду. Сами же и постарались, когда строили.

Есть у морей-детенышей, кроме обязательных забав и маленьких радостей и своя рутина. Приходится нянчиться им изо дня в день с несъедобными отбросами, какие – топить, те, что не тонут – к течениям пристраивать, понемногу, порциями, чтобы не очень заметно было, мать-море терпеть не может все это безобразие, прямо-таки ненавидит. Хуже всего мазутные пятна: не намокают, не тонут, двигаться никуда не хотят, липкие и бездушные. Расползаются пленкой, мешают солнцу с ветром соленую спинку погреть-почесать... Редкая пакость. Находятся, правда, среди маленьких морей модницы, что не просто притерпелись к мазутным неудобствам, но и радуются им без всякой меры, соперничают друг с другом, у кого ярче радужная

накидка. «Вот дуры!» – думает о них мать- море, но на самом деле жалеет глупых и с особым упорством охотится на нефтеналивные танкеры, виня их во всех грехах. Может и не догадывается, к чему в конечном итоге приводит ее усердие, а может – знает, все одно – остановиться не в силах. Миссия у нее.

Мать-море никогда не прощает обид, нанесенных людьми её многочисленным чадам, отгороженным от материнского тела каменными и железобетонными стенами, сваями, равно, впрочем, как и преградами, созданными самой природой. Неспешно, по одной лишь ей ведомому порядку, наказывает мать-море всех, кого числит в обидчиках. Случается, разгуляется, залюбуется в охотку, не досуг ей со списком сверяться... И не сверяется. «Погорячилась. С кем не бывает...» – успокаивает себя мать- море, но на самом деле неловко ей из-за допущенной несправедливости, стыдно, и затихает буря быстрее обычного. Увы, ненадолго.

Мать-море живет по своим часам, никому не дано взглянуть на их циферблат, только самые отважные мореходы, кого она испытывала жестоко, и не раз, обретают способность чувствовать, предугадывать, куда движутся эти стрелки. Я среди них не числюсь, я проснуться без будильника вовремя не могу, своего времени не ощущаю, а тут, на тебе, целое море...

ВТОРОЙ МОКАСИН

«Свинья! Свинья! Свинья!» – три раза обзываю себя, теперь уже вслух. Рассчитываю, что море услышит меня и поймет, что раскаиваюсь, больше не буду обувью мусорить. Почему трижды? Пытаюсь числом заместить недостаток искренности. Я вообще-то во всю эту мистику не очень верю, только опасаюсь. У меня и с Господом выходит примерно также.

Второй мокасина сидит на ноге гораздо плотнее брата-подводника. Рискую потерять равновесие, стягиваю его при помощи оголившейся пятки, мимики и популярных у нас, у мужчин, невразумительных слов – заклинаний. На трапе щипок неуютного чувства – в самое сердце, зараза, – заставляет меня оглянуться и я вижу, насколько странен, убог, неуместен одинокий башмак, брошенный на причале. Черт бы с ним, конечно, если не водить знакомство с Джи-Джи... Еще три раза повторяю вслух про свинью и добавляю – «Циник!». Прикидываю все вероятные тяготы путешествия босиком до ближайшего бака с отходами жизнедеятельности – его размер специально выбрали, чтобы как можно большее число отдыхающих могло полюбопытствовать, чем питаются мореходы. Неужели им это в самом деле может быть интересно? «Я сошла с ума, я сошла с ума...» Что это? «Т.А.Т.У.»? Это ассоциации с мусором или что-то другое навеяло? Уж лучше про «Нас не догонят...», некому нас догонять, все еще спят. Я возвращаюсь, забираю туфлю, воинственно растопырившую шнурки – «Тоже мне, омар нашелся!» – и примериваюсь зашвырнуть ее в мутные воды под малороссийское «До пары!», но тут на соседней лодке, мне кажется, начинается шевеление... Поспешно сую «полпары» в подмышку, а на камбузе своего судна запихиваю в мусорное ведро. Оказавшийся с неволе башмак с минуту бурно сопротивляется – шумит, шуршит вызывающе, ищет, свободолюбивый наглец, как бы ему распрямиться подошвой. Затем устает, а возможно смирился. Ну хорошо, пойду я ему навстречу, вытащу из ведра, положу на пол... Да хоть на стол – что дальше то?

В конечно итоге, из двух мокасин сложился хрестоматийный маршрут пожилых разводящихся пар: помойки разные – судьба одна. Этот предмет я мог бы преподавать, клянусь.

СОЗЕРЦАТЕЛЬ

На палубе дышится намного легче, чем внутри лодки, куда солнце, насмехаясь над убогими уловками в виде плотных штор, тонированных стекол – разве они светила соперники? – уже запустило триллионы невидимых раскаленных спиц, насквозь прожигаяющих всякий оказавшийся на пути живой организм, в том числе и мой. Самонадеянный бахвал кондиционер пытается заманить меня обратно в пекло, но я выбираю жизнь без иллюзий – устраиваюсь на носу, на ветерке, и наблюдаю, как посреди бухты в удивительно чистой голубой воде – весь хлам, как и в жизни, шторма прибывают к берегу – местные мужики на двух деревянных рыбацких лодках возятся с тушей то ли дельфина то ли китёнка – с моего места не разглядеть, а послать за биноклем некого. Самому сходить лень.

Дельфин, наверное. По идее, обязан быть дельфином... Portus Delphini, Порт Дельфинов, Портофино... Китов я здесь отродясь не видел, а китенок сам по себе без взрослых китов – явление нереальное. Но это я так думаю. На самом же деле – кто их, китов, знает? Тоже ведь млекопитающие, как и мы. Всякое могло приключиться: молоко порченное, детство не сложилось... Удивительно, но при всех сложностях со здоровьем я отнюдь не утратил способность мыслить логически.

Мужики рьяно тычут тушу баграми, будто это маньяк, покушавшийся на честь их дочерей, но она лишь пружинит и переворачивается, вспыхивая на солнце искорками последних счастливых, навсегда отложенных в море воспоминаний.

«Под винты скорее всего попал, или другую какую человеческую пакость не пережил», – прихожу я к итогу ленивых раздумий. Не знаю причины, но мысль об обычной, естественной смерти обитателя моря, особенно такого «очеловеченного», как дельфин – я уже точно вижу, что не китенок – почему-то не приживается. По отношению к людям это, наверное, несправедливо, но я себя не стыжусь. Кто, скажите на милость, вправе требовать справедливости от вялого, похмельного человека, если у него даже из курева – и то остались две последние сигареты. Обычные, заметьте, сигареты. Можно обе подряд скурить – никакого проку не будет, дым один.

От нечего делать все же отвешиваю дежурный поклон богам объективности: да, случается – «мрёт» морская живность и без участия человеческого гения, хотя это сильно принижает его величие.

«После недолгой тяжелой болезни королевская креветка...», – формулирую первые строки некролога. «Ну и так далее.» «Вторые» строки не сложились. Неужели это звучит убедительнее, чем «Попала под винт, в сеть, в силки... Нет, силки – это про птиц... На сковороду... Ну не знаю куда еще...» Конечно же нет. «Боже, о чем это я?» И в этот самый миг мне открывается высший смысл существования монархий: ранжирование креветок! Для неподготовленного человека – гарантированный обширный инфаркт, но я-то готов!

Багры-то у мужиков тупые, причальные... Судя по сноровке, не рыбаки. Работяги портовые и скорее всего не из местных. Сезонники, совсем никакой хватки...

На лодках азартно и мелодично переругиваются. До отечественной выразительности перепалка не дотягивает – куда им без татаро-монгольского ига, – но общее впечатление – ничего, сносно. В чем мы итальянцам однозначно уступаем, так это в жестикуляции, а в текстах – нет, даже если не всё понимаешь.

Один бедолага переусердствовал с багром и чуть было не плюхнулся за борт. В последний момент товарищ поймал его за штаны, чудом удерживает. Оказывается, хорошее дело, когда штаны на жопе – мешком. Были бы по фигуре – уже бы барахтался, юродивый, в перегретой водице. Не скажешь, что страна на пике моды живет. Может, и слава Богу.

«Вот так существо разумное, стоит ему возомнить себя властелином морей, превращается в существо зазнавшееся, и срочно нуждается в порке. Живем как на спор – или мы жизнь заламаем, или она нас, а хочется, чтоб по любви, по взаимности... Идиоты». Последнее слово я по большей части адресую тем, кто придумал так поздно открывать бары, но самокритично вношу в список и себя вчерашнего.

Одна из лодок вдруг резко кренится и экипаж с баграми, плеском и воплями оказывается в воде.

«Есть! Ну наконец-то!»

Наверное, я даже подпрыгнул, как минимум мысленно. Именно такой развязки я подсознательно с нетерпением ожидал, почти перестал надеяться.

В первый раз за все утро стало легче, не отпустило совсем, но значительно полегчало. Пытаюсь разглядеть тушу дельфина, не преуспел.

Скорее всего в глубину ушел, от стыда подальше. А что если сам он всё это и подстроил, прикинулся – разумный – дохлятиной, забавы ради? Подумаешь, ткнули пару раз в шкуру тупой железякой... Теперь, поди, заходится, проказник, в хохоте, в ультразвуке своем. Хорошо бы.

МАЕТА

«Что там у вас происходит?!» – доносится с противоположного берега. Видимо там расположен пансионат слепых.

Жаль, что кричат не мне. Я бы мог коротко рассказать, что по ходу подаренного развлечения пытаюсь сообразить, как закрепить и не дать раствориться в похмельном синдроме редчайшему ощущению полной гармонии, родившемуся из чужой неудачи. И еще – на другом этаже сознания, в закутке, не связанном с внешним миром, составляю разговорник для общения с сыном. Старый давно себя исчерпал, его катастрофически не хватает, хронический дефицит тем, приходится что-то выдумывать, но мне не в тягость, это меньшее, что я могу для нас сделать. В моем поношенном организме тестостерона год от года становится меньше и меньше, а значит, по идее, и шансы на взаимопонимание с потомком должны подрастать. По идее... Но не растут, собаки, что твой доллар к евро. Правда, на деле я ничего не предпринимаю, лишь умозрительно отслеживаю котировки шансов. Надо бы изобразить что-нибудь этакое, как-нибудь приятно его удивить. Например, набраться терпения и махнуть вместе куда-нибудь на недельку-другую. Я потерплю, он потерпит... Классный может выйти отдых. Или без отдыха потерпеть?

Говорят, два мужика – не семья. Знаю пару джентльменов, которые с этим не согласятся. Черт, да эту пару весь мир знает... И живем вроде бы недалеко друг от друга, два-три раза в неделю перезваниваемся, видимся почти ежемесячно, а как-то не складывается. Парень весь в мать, у нее все всегда с вывертом... В машине – педали тугие, двери – наоборот – слишком легкие... В больницу попадет – все ей вредно, даже цветы. Толкаешься, как дурак, в часы посещений среди жен-мужей – все с букетами, фруктами, судками, а у меня пустота в руках, моей ничего нельзя. Мужики смотрят и недоумевают, женщины осуждают. Суцая пытка. И конечно же, я сам во всем виноват: «Мог бы догадаться портфель брать с собой. Здесь многие еду в портфелях приносят». Бред какой-то. А возможно, что и не бред, и виноват... Возможно, всё так и есть как она говорила. Но только и у чувств есть чувства, а мое чувство вины грешит гордыней, мерзавка.

«Боже, дай мне ума и счастья ошибаться в моем мальчике и огради нас обоих от чужого опыта и мудрости! Аминь!» – произношу про себя привычно то, чего нет ни в одном молитвослове, ни в учебниках по педагогике, ни в энциклопедии тостов. Энциклопедии тостов наверное тоже нет.

Опыт, мудрость... Напридумывали слов, чтобы всех перессорить...

С собственным сыном сложности, а с невесткой – чужой человек – никаких проблем, с внуком тоже, тот свой в доску... Не ребенок, а чудовище, маленький злодей. Упрет руки в боки, два оставшихся зуба выставит вперед: «Вот как стану Гарри Поттером, и проснусь утром без вас – маглов!» И хотя для того, чтобы разобраться в тексте приходится читать Джоан Роулинг и всё равно напрягать фантазию – внук произносит «Гаи Потеам», «паасусь утуом» – в словах его угадывается манифест, непоколебимая позиция. Лично я тоже не прочь... без маглов, если, разумеется, сам – Гарри Поттер. Только кому понадобится наше волшебство, если все вокруг – сами себе волшебники? Нет, без маглов никак нельзя. И без дураков нельзя. И с дураками нельзя... Подрастет – сам поймет. Или я объясню, если успею к тому времени во всем разобраться.

«И имя мое в этом случае будет... Стоп, никаких богохульств.» Всё равно скрытно произношу про себя, словочь непослушная.

В принципе, все в моей жизни нормально, только все не так. И делаю я все правильно, да все как-то не то... Однако, прощай, гармония. Привет, хандра! С возвращением. Заждались уже.

К потерпевшим крушение подошли еще две лодки из уцелевших после ночного шторма. Люди в них, демонстрируя еще меньше навыков, чем жертвы, принимаются разбрасывать спасательные круги, «аки сеятели», заставляя барахтающуюся публику из последних сил уворачиваться, чтобы не получить тяжелым оранжевым предметом по голове. Вот бы морю облегчение вышло. В одном месте кормилец убудет, в другом – прибудет. Тоже кормилец... Королевских креветок кормилец и другой всякой разной подводной живности Недотёпы. Даже прицелиться толком не могут. Недотёпы и бездари.

У моего сознания какие-то тайные, неизвестные мне счеты с монархией – королевские креветки опять откуда-то всплыли, да еще и с замашками людоедскими. У меня, кстати, никаких представлений о том, чем они кормятся. Вот раки... На Дону, в низовьях, мужики рассказывали, будто раки утопленников едят. Наверное, мало наловили, или пива пожадничали, отваживали. Пустое. В моём случае ничего у них не вышло.

От навязчивого непонятого гомона мое тело снова пришло в состояние беспокойства, пуще всех других частей – голова. Захотелось крикнуть по-свойски, по-нашему: «Эй, хорош орать уже, а?!» Но не с руки: мальтийский флаг на мачте моего судна, не самым изысканным образом переживающий штить, призывает к сдержанности. Найдется ведь гад, накатает кляuzu Самому Главному Рыцарю Мальтийского Ордена и отберут у меня красоту такую с крестом затейливым... Не верьте, всё это чушь и праздная болтовня, флаг совсем не при чем, просто недостаточно захотелось. Кричать недостаточно захотелось, если кто забыл, о чем речь. К тому же внимание мое прилекла хищная яхта серебристого цвета, в стиле «милитари», со стапелей верфи с соответственным именем – «Першинг». Неразличимый за наглухо затонированными стеклами шкипер уверенно осаживет судно в ожидании команд от портовых служб, и оно чинно кланяется Портофино, заслоняя от меня бесконечный триллер о вреде труда для жителей Средиземноморья.

СИБАСТИАН

Морской окунь не мигая наблюдал за неторопливым вращением двух бронзовых винтов. Он легонько подрабатывал плавниками и хвостом, чтобы не сносило течением и презрительно оттопыривал нижнюю губу – тоже мне винты... Винтики. Не такие видывали.

Винты от неловкости и стыда за свой мелкий размер слегка потеряли в блеске, замерли, потом суетливо ускорились в обратную сторону, стремясь затеряться в пузырьках взбаламученной зеленоватой воды. «Что и следовало доказать», – решил Морской окунь и, предприняв небольшой круг почета, уставился в другую сторону, где по всей ширине горизонта вода была в мелкую, едва различимую клетку. Ячейки сети казались ему тонюсенькими и хлипкими, а сам Морской окунь, в сравнении с ними, огромным и могучим.

На самом деле, назвать его Морским окунем можно было лишь с натяжкой, с очень большой натяжкой, по безграмотности. Ни тебе ядовитых желез на отточенных окончаниях плавников, ни роста под метр, ни веса с полпуда, как у родственников из северных вод Атлантики. О цвете и говорить не приходилось – ни единого яркого пятнышка. Словом, обычный средиземноморский сибас сантиметров тридцати ростом, если сильно вытянется, и граммов на триста весом, после обильной трапезы, во всей своей блеклой и невыразительной красе.

Конечно же, Морской окунь знал о себе всю правду, с которой категорически не желал мириться, и, чтобы не выглядеть в глазах соплеменников клиническим идиотом, представлялся всем как Сибасиан, при этом акцентировал второй слог и намеренно проглатывал окончание, добавляя неслышно, про себя – «...Морской окунь».

«Сибасиан, Морской окунь. Прошу любить и жаловать.» Если бы можно было закрыть глаза, то Сибасиан представил бы себя – неотразимого – в легком элегантном полупоклоне: жабры чуть назад, хвост, напротив, немного вперед, прогнуть, но не утратить достоинства... Но глаза не закрывались, а мечтать с распахнутым настезь зрением получалось не очень хорошо, разве что о вкусной еде.

В гавань Портофино Сибасиан заплыл не случайно – очень захотелось посмотреть на останки хвастливого малыша-дельфина, что резвился вчера, вопреки родительскому запрету, в оживленном форватере. Сибасиану дельфиненок активно не нравился – шумный, вертлявый, невоспитанный и заносчивый. На днях он чуть не сшиб его с курса безобразно тяжелым серповидным хвостом, и при этом ни то что не извинился – даже не оглянулся! «Вот и доигрался, допрыгался».

...Где-то недалеко за недавно возникшей сеткой скрывалось привычное поросшее травой пастбище, которое Сибасиан, по правде сказать, страсть как не любил покидать. Сейчас он вполне резонно опасался, что долгое отсутствие будет воспринято конкурентами как приглашение занять освободившуюся «жилплощадь» и весьма возможно придется повоевать... Насилие было Сибасиану чуждо, если только науськать кого... Как и большинство созданий – невеличек, он был наделен скорее защитными чем атакующими инстинктами и открытым столкновениям предпочитал коварные интриги, спланированные холодным рыбьим умом. Иногда он все-таки позволял себе рискнуть, если преимущество на его стороне было явным и неоспоримым, но в таком случае речь уже шла не о противоборстве, а об охоте и о еде.

Еду Сибасиан любил и не уважал, пожирая без сожаления и в непристойных количествах, однако, почти не прибавляя ни в росте ни в весе. «Интересно, сколько же приходится есть китам, чтобы сперва вырасти до таких гигантских размеров, а потом еще и всю жизнь поддерживать себя в таком непристойном состоянии, не уменьшаясь? Немудрено, что они время от времени с ума сходят...» У Сибасиана было свое понимание причин, заставляющих китов выбрасываться на сушу и там погибать.

Китов Сибастиан тоже не любил, как и дельфинов, и не завидовал им ни чуточки. Да и чему завидовать – гоняют воду из пасти в спину как заведенные, и фонтаны в небо пускают. Без всякого, надо сказать, прибытка. Хотя в данный конкретный исторический момент Сибастиан не возражал бы пропустить вперед на сетку, перед собой, пару другую китов, желательно особой покрупнее. Увы.

«Ладно, сам справлюсь. На скорости проскочу, порву в хлам», – решил Сибастиан, разгоняясь в сторону сетки, заколебавшейся в приступе безотчетного страха перед атакой беспомпромисного сибаса. В следующее мгновение ячейка пропустила голову Сибастиана и тут же тугим кольцом сомкнулась сразу за жабрами. Если бы Сибастиан знал, что поплавок на воде накренился лишь самую малость, почти незаметно даже для наметанного рыбацкого взгляда, то умер бы в тот же миг от бессилия и обиды. Но так далеко вверх заглядывать он не умел, и вообще считал пошлым разбрасываться недюжинным рыбьим умом из-за никчемных кусков пенопласта. Мысли его не метались, не путались, а неспешно выстроились в одном направлении, одна за другой, колонна из мыслей.

«Отчего же постигла меня столь явная несправедливость, – думал он. – И родился я не тем, кем хотел, и прожил не так, как мечталось... А теперь застрял вот в конце пути. Как же все прозаично и скучно, до зевоты».

Для наглядности, если вдруг кто наблюдает, Сибастиан несколько раз к ряду открыл и закрыл рот, будто попробовал, чем отличается вкус воды за сеткой от той, в которой купался хвост.

«Обидно то как! – вдруг дошло до него. – Разве справедливо, что живое существо, сплошь состоящее из корма для большого ума – название химического элемента никак не желало вспоминаться – само дарованными природой возможностями пользоваться так и не научилось? Или... все-таки научилось, раз я сам до этого додумался? – осенило Сибастиана. – Возможно, это только что снизошедшее на меня озарение и есть достойный финал всего пройденного пути?!» Он перестал подергиваться и сетка тут же ослабила жесткие, недружелюбные объятия. Они будто бы сговорились – рыба с сетью – не доставлять больше друг другу ненужных, бессмысленных неудобств.

Через некоторое время Себастиан задремал. Застывшая невдалеке знакомая лодка злобно метнула винтами в его сторону янтарный лучик, отразившийся желтыми каплями в сибасовых глазах – блюдах. Никак по другому Сибастиан на вызов не отреагировал. На мелочные, недостойные перепалки он уже не разменивался. Его переполняло чувство собственной избранности и величия. Всё было не зря.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

До открытия самой ранней точки портового общепита, где, опечатанные на ночь, томящиеся под присмотром неусыпной и скандальной охраны копятя, рвутся из под пробок, толкают их мои будущие жизненные силы и весь запас столь потребного оптимизма, остается чуть больше часа.

Целая жизнь.

Как прожить ее так, чтобы не было мучительно больно... – я, право слово, не знаю. Знаю только, что наверняка проживу. Уверен на все сто. Зуб дам. Мой дантист, животное, за эти годы сделал на мне состояние...

Сталкиваю ногой в воду откуда-то взявшуюся на палубе ракушку. Ну да, шторм... Пытаюсь восстановить цитату из Николая Островского по памяти целиком: *Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые гоДы?* Главное слово – «бесцельно».

Миссия невыполнима.

ПРАВИЛА КОКПИТА

Желтая сумка по-прежнему лежит на столе в кокпите.

Для тех, кто не в курсе: кокпит – это открытое ветрам и взглядам место в корме лодки, подобие английского палисада, которое прежде всего сами же англичане – их в средиземноморских портах толпы – изучают с нескрываемым любопытством, не взирая на присутствие и занятия обитателей. До поры до времени они делают вид, что не замечают хозяев. Сидишь и чувствуешь себя воплощением дурновкусия, угодливым огородным гномом в цветном колпаке из мятой глины, оскверняющим неуместным присутствием почти идеальный газон. «Почти» – это важно. Потом до тебя снисходят... Снисходят по обязанности, ты остро чувствуешь, что это именно так – дань, принудиловка, по-другому нельзя: улыбаются и советуют испытать восторг от погоды, которая третий день ни единому судну не дает выйти из порта. Если бы я владел винной лавкой, то радовался бы вместе с ними, а я в кокпите. И погода – мечта винных лавок и винных лавочников – далеко за пределами моих собственных представлений о прекрасном. Принимаешь издевку и нещадно транжиришь в ответ стратегический запас подходящих такому случаю слов и точно выверенных эмоций. Всякий раз не устаю повторять: «Спасибо Кейт¹, ты нереально упростила мне жизнь». Однако, стоит иметь ввиду, что если те же люди еще раз почтят вас своим вниманием – ускользнула деталь, требуется освежить – и остались вами неузнанными, вы будете выглядеть нудным тупицей, цитирующим самого себя. Умиляясь щадящим солнцем, старайтесь запоминать лица. Да... И учите слова. На худой конец, если вы догадались, что уже видели этих людей – например, они обратились к вам по имени, – сделайте вид, что с предыдущей встречи успели забыть английский. Лучше прослыть кретином, чем невежей, тем более, что это не очень надолго, терпимо.

Иногда возле лодки задерживаются немцы, обсуждают достоинства – недостатки между собой, полагая, что их не понимают. Разрушишь иллюзию – не смутятся, могут дать пару толковых подсказок по поводу близлежащих лагун. Не опасаются, что займу их место, уверены, что будут раньше всех; немцы.

Реже всех на портофинском причале встретишь французов. Эти скупно кивают, если твоя лодка больше, и похвально гримасничают, если меньше, старше и хуже.

На самом деле, мне должно быть стыдно, я очевидно предвзято к французам, виноват. По большому счету, «меньше, старше и хуже» – три основные ингредиента эликсира любви в мире яхтинга. Лично я обожаю соседствовать с роскошными кораблями, потому что знаю: здесь мне искренне рады.

Изумительное место для изучения и запоминания английских лиц, аутотренинга и сеансов одновременного лицемерия. Поистине незаменимое. Не забудьте: кокпит.

¹ Кейт Фокс – антрополог, автор книги «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения»

ПРЕДЧУВСТВИЕ ДОБРОГО УТРА

С внешней стороны сумка просохла. Я переворачиваю ее. Старая газета, не Бог весть каким образом оказавшаяся прямо под сумкой, опечаталась на деревянной тиковой столешнице групповым снимком Большой Восьмерки. Или Самой Большой Девятки. Или Невероятно Большой Десятки... С цифрами у меня еще хуже, чем с политикой. Я и снимок-то распознаю только благодаря тому что он нечеткий, как и всё, что эти «восьмерки-десятки» делают и о чем говорят, по аналогии.

Отечественного лидера не разглядел, зато опознал испанского премьера, возвышавшегося как всегда с краю – пригласили, похоже, из вежливости, в последний момент, большинство испанцев надеется, что в последний раз. Домысливаю его улыбку недоброй куклы из образцового театра, возможно совсем не к месту, может быть они хоронили кого-то? Или что-то? Последнее – ближе к жизни и никому не мешает улыбаться: им над нами, нам – над собой. «Мир вашему миру!»

На соседних судах, измочаленных ночным безобразием, учиненным природой-матушкой, появляются признаки первого шевеления – робкого, с недоверием к солнцу, ярко-голубому небу и послушной неверным ногам палубе. Только теперь до меня доходит, что звуки, спугнувшие утопление второго башмака оказались фальшивыми, то есть «нечеловеческими». Засада!

Через час – полтора начнутся мужские хождения по причалу, от лодки к лодке. Прольется «интерматерок» в адрес древних строителей подводной ступени, каждый хозяин на своем личном безмене взвесит травмы и увечья, нанесенные стихией любимой игрушке – на этом причале цена «скорлупок» колеблется от полумиллиона до трех, – а потом пойдет сравнивать свои беды с соседскими. Сильно пострадавшие будут пожимать плечами: «Ничего особенного, не впервой, мелочи. Вот, помню, прошлым летом в проливе Бонифация... Там потрепало так потрепало... Работы на час, не больше, завтра же и починимся.» Пережившие ночь с небольшими потерями, или вовсе без таковых, будут изображать сочувственное внимание, вежливо соглашаться, думая при этом: «Слава тебе Господи, не оставил своими заботами... А ты, страдалец... Иди уже, впаривай другому кому про час работы... Где ты чиниться-то собрался?! Здесь тебе еще больше все поломают. Не повезло. Впрочем, поздравляю!» Даже не так, а слитно, в одно слово: «Неповезлопоздравляю!», без «вообще». Не исключаю, что есть на этот счет – я о злорадстве – какое-то хитрое суеверие, настоятельно рекомендуемое именно такую форму сочувствия, чтобы самого беды стороной обходили, хотя самого меня учили, что всё наоборот. Мне, надо сказать, ни один из вариантов не помогает.

Будет много историй про град величиной с перепелиные яйца. Не те, что у перепелов-самцов, а те, что их самки несут для наших салатов. Про волны до пятнадцатого этажа, «а мы – офигеть! – на шестнадцатом, только поэтому и пережили...» Женщины в это время расстелят полотенца и растянутся на открытых солнцу носовых частях миниатюрных «титаников», закроют глаза и – Ди Каприо... вот он, рядом... Наигравшись в Кейт Винслет, они примутся скрытно оценивать друг друга сквозь темные очки, развивая позднее косоглазие, и поражаться. Кто-то наверняка подумает о соседке: «И эта корова полночи ланью летала по палубе... Подумать только, что угроза утраты имущества с людьми делает?! Минут лет двадцать, минимум, в одночасье... Шторм... С мужчинами надо знакомиться в шторм! Отныне только в шторм!» При этом, все они, без исключения, невзирая на сроки годности и нарушенные условия хранения, будут «топлесс».

Скукотища невероятная.

ПРОИЗНОШЕНИЕ ВАЖНО

Еще полчаса. Похоже, мне одиноко. Одиночество – это не чувство, не состояние, это – окаменелость. Мой дядька, очень известный в свое время летчик-испытатель, обожал, когда журналисты задавали ему самый умный из приготовленных вопросов:

«Вы самолеты испытываете?»

«Их тоже, – отвечал дядька, – но чаще испытываю чувство одиночества...»

Хороший был человек, очень хороший. Все, к кому он ходил в гости, а таких только по Москве набиралось домов двадцать, его обожали: никогда не опыздывал, всегда приносил с собой завернутые в газету кожаные тапочки без задников, выпивал мало, как и ел, зато щедро нахваливал кулинарные способности хозяйки, а хозяйина – за прозорливость в выборе спутницы жизни. Главное, никогда не задерживался после чая больше чем на пятнадцать минут и запросто уводил за собой всех гостей – ну форменный крысолов, только без дудочки. Кто-то «покупался» на предложение «растрясись чутка», кому-то нравилось, что его подвезут... Последним, в итоге, за доверчивость приходилось расплачиваться беготней по холоду, если зимой, в поисках такси, хотя можно было заказать машину из квартиры. Но! Эта печальная перспектива становилась очевидной только на улице, когда возвращаться к хозяевам в момент их счастливого изнеможения – «Ушли... Все ушли... Боже, это не может быть правдой...» – было менее интеллигентно, чем злиться на весь белый свет и мерзнуть, поскрипывая зубами: «Сука»; никто не слышит. Голову дал бы на отсечение, что несколько раз видел одни и те же лица, хотя ни в сценарий ни в режиссуру дядюшкиного поведения не было внесено равным счетом никаких изменений. Сейчас бы сказали – «зазывалы проплаченные». Что было на самом деле – не знаю, в самом деле странно: однообразный розыгрыш с однообразным финалом. Но тогда, юнцу, мне было весело.

Самое неизгладимое впечатление на гостей, еще не до конца ощутивших себя обманутыми, производил водитель дядюшки – высокий, широкоплечий, затянутый в португали офицер, заученно, без малейшего намека на улыбку, объявлявший подлетевшей к персональному лимузину стае:

– Неположено. Только родственники и самые близкие друзья.

Водитель был из Западной Сибири, деревенский, из Колчаковки – так в народе в двадцатые годы прозвали три дюжины переживших все революции домов вдоль насмерть разбитой дороги из одного никуда в другое. Году в восемнадцатом там квартировали белые, потом вдруг собрались и ушли, испарились – без суеты, без единого выстрела, вроде бы даже без повода – красные так и не объявились. Их, по правде сказать, никто и не ждал. А через неделю вышли к людям и объявили себя новой властью братья Пивоваровы, вроде как деревенские партизаны. Из подпола вышли, все дни «оккупации» пересидели у местного попа в подполе, и еще неделю прихватили, пока наливка не закончилась и от пяти окороков одни веревки остались, хоть и с запахом. Сказали: «Для верности выжидали».

Во власти новой, собственно, никто не нуждался, как и в любой другой: «Про Ленина не читали, о царе только слышали, а Господь, хоть сам все видит, на глаза опять же не попадается». Каторжанская, словом, кровь, одна власть – воля. Словом, пока устанавливали новую власть, свергали, опять устанавливали, пока Пивоваровы кумекали, чего бы у кого конфисковать сподручнее и половчее, да конфисковывали – много времени прошло. Без малого девять месяцев минуло, как белые ушли. В это самое время местная повитуха нарасхват оказалась, а с ней и власть новая наконец-то к делу сгодилась.

Пивоваровы, обрадовавшись поводу – полдеревни рожениц! – выгнали из дому попа, тем более, что у того на всех сосчитанных сынов и дочерей божьих, что на подходе, крестильных крестиков не хватало, буквально трети, и он, робкая душа, запил горькую от нерешительности

– кого обделять; та еще работа. Освободившееся строение осветили «Революционным красным ходом», воспользовавшись батюшкиными свечами, вываляв их в табаке, чтобы запах о церкви не напоминал, газетным портретом Ленина, присовокупив, по настоянию селян, «на случай какой», Манифест об отречении Государя Императора Николая II. Тот самый, что возлагал ответственность за Отечество на Временное правительство. Манифест для порядка наклеили на доску, с другой стороны которой уже взирал на торжество своих идей вождь мирового пролетариата. Доска оказалась с темным сучком, который просвечивал аккурат через левый глаз Ильича. Демон, да и только.

Бывшую собственность служителя культа назвали красным роддомом «Лютая смерть врагам мировой революции имени Ленина». Оттуда незамужние селянки без особого шума и пьяных мужицких гульбищ «по поводу», однако и без бабского вытья с причитаниями, то есть вполне достойно, разнесли по домам розовощеких крепышей, по большей части мужского пола. Имена им, понятное дело, давали разные, а фамилию одну на всех – Колчаковские. Нашли-таки Пивоваровы, чем девок ущемить. И то хорошо, что обошлось «малой кровью», без рабочекрестьянского фанатизма. Кстати, несознательные односельчане поговаривали, что некоторые пацаны из «белого помета» якобы сильно лицом доморощенных революционеров напоминают, да и по срокам как-то не очень складывалось, если не действовало на селе подполье белое месяц- другой. Впрочем, что с них взять – деревня... Грамоте не обучены, арифметике тоже. Небылицы все это, как есть – небылицы.

Лет двадцать спустя один из Колчаковских добрался до самой Москвы, место получил «в органах» и вплоть до кончины своей, по выслуге лет, не ленился подсказывать новым друзьям ударять в его фамилии на третий слог, а кто гнушался подсказками – того поправляли; разные были методы способствовать лучшему запоминанию, большинству хватало одного их перечисления. Его единственный отпрыск уже, само собой, иначе чем Колчаковским себя не именовал, а поскольку пошел по стопам отца – никто вопросов не задавал, а кто имел такое право – знали ответы.

Манерами молодой человек был не в родителя – сдержанный, спокойный. Говорил без спешки, со значением, много читал, правда в основном газеты. Во взгляде, вместо вечной отцовской подозрительности, с прищуром, временами проскальзывало высокомерие, тоже, кстати сказать, с прищуром. Статью тоже пошел в отца, но без мужицкой медвежистости и кажущейся неуклюжести. В плечах такой же, но талия узкая, складный, подогнанный каждой частью. Начальство таких любит, а жены начальников – и того больше. Проще сказать, если в папаше и чувствовалась «пивоваровщина», то сын все досужии домыслы разом перечеркнул – эта ветвь Колчаковских точно не была на совести братьев.

Итак, после короткого и, поверьте на слово очевидцу, впечатляющего выхода младшего Колчаковского, дядюшка виновато разводил руками – «Увы, правила устанавливаю не я, вам ли не знать, сами видите...» – и мы вдвоем загружались в теплый салон с темно-вишневыми бархатными чехлами.

Интересно, зачем моему заслуженному – перезаслуженному родственнику все это было нужно? Неужели тоску таким образом разгонял? Нет, не с тоски. Со скуки, наверное. Дурачатся именно что со скуки, у тоски шутики злее.

В авто главный пассажир непременно комадовал: «Поехали!». При этом, его губы никак не желали разжиматься – обижались на хозяина за ничемную болтовню и склеились между собой. Не так сильно, конечно, чтобы раздувался дядька до размеров воздушного шара... И тут я на нем – юный, легкий, красивый – за восемьдесят дней вокруг света... Увы, вообще не раздувался, но команда «поехали» вырвалась наружу как из сифона, быстро теряющего давление. Выходило «Пха...ли», последний слог я скорее додумывал, нежели слышал; даже не междометие, просто звук.

Для Колчак^{овского} команда «Пха...ли» превратилась в ритуал, без которого начало движения было бы так же невозможно, как если бы сам он забыл завести двигатель. Интересно, рассказал ли он кому-нибудь об этом, и как сложились отношения Колчак^{овского} с новым пассажиром, когда дядюшку поперли отовсюду, сохранив лишь звания и регалии, как гирлянды на срубленной елке, и заперли на госдаче доживать и крапать мемуары в блокноты с пронумерованными страницами в компании с одорукиим философом – банщиком, Савельичем. Старик нарочито напирал на мягкий знак в отчестве. У меня на этот счет была своя теория: Савелич – это для обыкновенных банщик, а если банщик-философ, то непременно с мягким знаком. Надо сказать, большинство банщиков, а их я перевидал в жизни множество, могли претендовать на такой же вербальный знак отличия, что есть – то есть. Вобщем, Савельич. Как сейчас слышу его голос:

«Без мужества, сынок, не бывает славы, а без трусости – не понять, где мужество, а где нет его. Слава, она тоже не от характера зависит, а от судьбы оказаться там, где хочешь – не хочешь, а приходится что-нибудь проявлять: силу там, или слабость, мужество или трусость... Там так не получается, как вы нынче живете: проходил мимо, и прошел... Просто живете, по-глупому, и других также судите. Бывает, уж поверь старому солдату, что если есть в тебе хоть кроха мужества – трусить надо и бежать без оглядки, а если не повезет – тут и будет тебе вечная слава...»

Он зажимает в коленях очередную бутылку «Жигулевского» и окостеневшим ногтем большого пальца подбивает пробку снизу вверх. Она послушно, со щелчком, срывается с места, летит вверх. Мечтает, наверное, дотянуть до Жигулевских гор – не выходит, для такого перелета ногтя мало. Я послушно подбираю пробку из травы и опускаю в банку из под халвы, где ее принимают или не принимают в компанию такие же горе-путешественницы.

«Вот так, сынок... А я с детства плохо бегаю. Ходить могу сутками напролет, а вот бегаю плохо. Что-то со ступнями не так, от недоедания, наверное, когда малой был, от недоедания много разных хворей... Теперь вот – герой...», – Савельич кивает в сторону пустого левого рукава, словно не имеет к нему прямого отношения. А может быть этот кивок всего-лишь вопрос-приглашение, потому что в следующий момент Савельич протягивает мне опробованное «Жигулевское»...

Не думаю, что порядком поднадоевшая, «фирменная» шутка с предложением подкинуть гостей до дома могла сыграть каую-то роль в незавидной судьбе моего дядьки, как бы и кто бы на него ни обижался, настолько больших начальников я в его окружении не помню. Кстати, те могли и сами таким же образом забавляться – у всех был персональный транспорт. Скорее уж внимательный Колчак^{овский} порадел старшему товарищу. Решил, видимо, что пора менять пассажира на другого – посолиднее, достало его все-таки это неизменное «Пха...ли!», и «заПха...ли» дядьку на вечную дачу. Однако, не факт.

Как бы ни было, жаль дядьку. Еще жаль, что вчерашняя дебоширка пропала куда-то. С чего я решил, что она обязательно должна быть из Портофино? Вполне могла заехать-забрести случайно... Чертовски жаль, что нельзя вернуться назад – во вчера... Удивительно, что почти такими же словами заканчивалось последняя весточка, полученная мною от дядьки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРЕБУЕТСЯ МОЗГ

Вчера... Вчера примерно в это же время, а может быть и того раньше – второй день просыпаюсь ни свет ни заря – я увидел на берегу девушку. Точнее не на берегу, а на причале Умберто Первого. Так правильно, и звучит, наверняка обратили внимание, очень достойно, весомо, хотя, поверьте опытному человеку – берег берегом. Не самое, на мой взгляд, заслуживающее упоминания место, если не принимать во внимание, что именно там пришвартована лодка вашего покорного слуги. И совсем уже не вяжется с ним имя короля – щедрого, храброго, целеустремленного, правившего Италией в конце девятнадцатого века. Кстати, это на него – на Умберто Первого – в Неаполе бросился с кухонным ножом повар – анархист. Да вот незадача – попал в премьер-министра. Понимаю, стрелял бы. Ну промахнулся, с кем не бывает. А тут – с ножом. И попал в другого... Перепутал... И что делало с людьми отсутствие цифровых камер? Великая жизнь была спасена неспешностью поступи технического прогресса. А может быть, все дело в Италии? Каждый день, проверяя в ресторанах сдачу, нахожу, что эту страну населяют великие путаники.

Начатое в Неаполе, все-таки довели до конца, но только через двадцать два года, в одна тысяча девятисотом. Где – не скажу, не помню. Да и неважно это, раз получилось... На сей раз авторы покушения не полагались ни на поваров, ни на кухонную утварь: выстрелили из пистолета три раза в упор – и всё. Попали в того, в кого просили попасть. Кто стрелял? Не каждый экскурсовод сходу ответит. А вот неудачника повара Джаванно Пассаннанте итальянцы не забывают. Даже мозг его сберегли, плавает себе до сих пор в формалине в какой-то посудине. Говорят, недавно мэрия его маленькой родины вытребовала эту посудину из римского Музея криминалистики. Отцы города убеждены, что экспонат привлечет к себе толпы туристов. Совершенно с ними согласен: чего не хватает туристам, так это мозгов.

ПЕЙЗАНКА

Девушку нельзя было не заметить. Она вышагивала, как автомат, раз за разом повторяя строго заведенный порядок: пять шагов в одну сторону, разворот на месте, еще пять в другую, разворот. Все это босиком. Я считал, а она ходила. Молча, сосредоточено, туда-сюда. Если бы не наушник с микрофоном, при всей своей миниатюрности неказисто громоздкий для изящного ушка, можно было бы предположить, что девушка про себя репетирует гневную речь, сулящую собеседнику трудно, в мучениях провести скупые минуты оставшейся жизни. Отчего-то вспомнилось давнишнее, из обрушенной жизни, партсобрание и симпатичная, глазастькая молоденькая дура, настучавшая на мужа, будто он обозвал тещу толстожопой тварью при том, что та – ветеран труда, орденосец и одна, без мужа, подняла четверых детей. И юбки, между прочим, покупает сорок четвертого размера, это – к жопе... В такт резкой отповеди «хамству в быту» она молотила маленьким кулачком в раскрытую ладонь, а когда закончила, то костяшки на ее правой руке горели ярче чем щеки.

«Комиссарское племя, – пришло мне тогда на ум чужое определение. Чужое и чуждое по настроению, по интонации. – Странно, что расстрелять мужика не требует. Главное, чтобы завтра руки на себя бы не наложила, узнав, что по ее дури мужу трехмесячную стажировку в Британском суде зарубили...»

С учетом опыта прожитых лет, думаю, хуже всех на следующий день пришлось ее маме.

Объект моего нынешнего наблюдения попеременно то хмурил брови, то прищурился недобро, потом глаза неожиданно широко распахивались, а губы, чуть полноватые для тонко вылепленного лица, наоборот – плотно сжимались. Трудно было представить себе больше внешних несоответствий лекалу, по которому родной советский кинематограф выпил в моем мозгу образ женщины – комиссара, однако лишенная предрассудков услужливая фантазия легко упаковала стройную фигурку в хром, подпоясала широким ремнем, перетянула грудь португеей. Стильно: кожан вышел от Армани, сапоги о Эрме. Что поделаешь: какое время – такие и комиссары. А вот косынка оказалась совершенно лишней, неуместной, перебор. Я ее стер мгновенно, еще завязаться не успела, и упрекнул фантазию во вредительстве – такие роскошные волосы нельзя прятать, грех. Тем более, что в душу мою ниоткуда проникла уверенность, что темно каштановый с медным отливом – родной цвет. Спросите – а разница есть? Не отвечу. Одно знаю: на подушке они бы выглядели бесподобно, просто потрясно, нет у меня других слов. Образов, увы, тоже – годы берут свое и требуют экономить время.

«Что это на уме у нас, смелый парень? – постукивает в моей голове наука неведомое передающее устройство, я его называю «дятлинг». – Последняя твоя пассия, из сверстниц, если бы разметала по подушке прическу, могла бы и не собрать...»

Я представил себе, как улыбалась бы девушка, слушая мои бессвязные бредни, и подумал, что хотел бы эту улыбку видеть. А еще – «Ну же, господа подержанные и траченные молью эротоманы!» – здорово было бы провести ладонью по этим волосам, разбросанным по подушке, потом поднести к лицу...

«Какое там «комиссарское племя»?! Пейзанка...»

Девушка остановилась напротив моей лодки, лицо повернуто в мою сторону, и я, грешным делом, подумал, что сейчас она улыбнется, а мне на старости лет не останется ничего иного, как уверовать в Господа, что, признаюсь, было бы крайне обременительно для нас обоих... Дальше и в самом деле произошла удивительная метаморфоза. Увы, не та, о которой я грезил. Девушка выхватила из кармана широкой цветастой юбки телефон – по-видимому «хэндс фри» забастовал или просто решил уйти в сторону от накаляющейся обстановки – и неожиданно сдержанным тоном, но явно на пределе, внятно выговорила в микрофон, поднесенный к самым губам: «Убирайся из моей жизни, Бобан! Только попробуй отключиться...»

«Во как?! – ахнул я про себя. – Вот это по-нашему, по-русски!»

У девушки был легкий, едва заметный акцент, скорее всего польский, а может быть так «мягко» по-русски говорят где-нибудь на Львовщине или в Закарпатье – я, правда, не замечал, но это еще ничего не значит. Кстати сказать, ни по лицу, ни по одежде не подумал бы, что соотечественница... И эти разноцветные ногти на правой руке... Почему для среднего пальца она выбрала желтый? По-моему, не очень политкорректно.

В этот момент наши взгляды пересеклись.

– Вас это тоже касается! – получил я в свой адрес все в той же тональности.

«И неплохой английский, явно не школьный, легко перешла, без запинки...»

Также естественно девушка вернулась к родной речи:

– Гондон мальтийский!

Было ясно, что плотина не просто дала течь – рухнула, и притом сразу, до основания.

Я все еще по инерции улыбался – с возрастом все реакции замедляются, – когда телефон с обидно невыразительным для производителя стуком врезался в борт моей яхты и завершил свои земные часы серией внятных всплесков.

«Соединяем людей... ценой собственного разъединения!»

А может быть и не «Нokia». Честно говоря, не успел рассмотреть.

«Неудачно бросила: отскочил бы назад, на причал – «симку» удалось бы спасти Боже, какая же здесь грязь после шторма... – я невольно поморщился, глянув за борт, и подумал уже о телефоне: – Неудачно попал».

Наверное, в такой воде мучали в бочке Человека-Амфибию в застенках Буенос-Айреса. Вспомнилось, с каким трудом, чтобы не опозориться на весь двор, я сдерживал слезы сочувствия к Ихтиандру, любви к Гуттиэре и ненависти к Зурите. Весь кинотеатр страдал вместе со мной, даже на «Трех мушкетерах» такого не было, когда умирала отравленная Констанция. Во французской версии ее называли Констанц, если кому-то важны детали.

Не так давно совершенно случайно пересмотрел «Человека- Амфибию». По-моему, фильм показали по разу на каждом канале, что могло означать юбилей кого-то из снимавшихся в этой ленте корифеев советского кинематографа, самого фильма или детское увлечение Беляевым кого-то из нынешних первых мужей государства, кого-то из двух. Сегодня я думаю, что Ихтиандр не так уж сильно и пострадал – отправился себе на вечный нерест в морские дали, от людей подальше, и все. Сегодня я завидую такой судьбе.

– Черт! Черт! – девушка со всей силы впечатала в камень босую ногу.

Я невольно охнул, по низу живота полоснула судорога. Со мной такое бывает, когда, к примеру, смотрю кино, а там кто-нибудь прыгает на асфальт с большой высоты. Возможно, это последнее, что осталось во мне от способности переживать чужую боль. Вчера, кстати, с трудом перенес собственную: перепрыгнул с дуру босиком с трапа на причал – будь они неладны, эти чертовы камни, даже если помнят они самого Умберто Первого...

От неожиданной резкой боли девушка вкрикнула и присела, но почти сразу же распрямилась, поджав ушибленную ногу. Она закусилла нижнюю губу и с ненавистью посмотрела сквозь меня полными слез глазами. Позже я так и не вспомнил, какого они были цвета, но точно какого-то необычного.

Натуральная цапля в образе птичьего бога войны.

«Да, дорогая, кто же еще, кроме меня, мог разбросать здесь эти колючие камешки...»

Дразнить страдалицу улыбкой, однако, я поостерегся – кто знает, что еще найдется в её карманах? Сдернул вниз козырек бейсболки, сближая его с собственным носом и пересел на поручень, демонстрируя обращенным к берегу профилем, что все происходящее на причале меня более не интересует. Бицепс, однако, напряг и живот подобрал, насколько хватило сил. Надеюсь, что хоть на сколько-то хватило.

На самом деле, сел плохо, не туда, как раз на тот борт, где отметилось прилетевшее средство связи, так что пришлось напрягать волю, преодолевая искушение оглядеть, окинуть взглядом последствия.

«Вот ведь жлоб! А пробоину увижу – что стану делать? – издевался я над собой и все косился, косился... – Вязать страдалицу и карабинеров кликать? Какая, к черту, пробоина... Нас и «Верту» не пробьет, а у барышни явно что-то попроще было, хлипкое, если судить по звуку... По результату тоже.»

В конце концов, насчет собственности я успокоился, но обнаружил возможность бессовестно, в оба глаза, следить за событиями на твердыне – выпуклая стеклянная дверь в целом неплохо отражала происходившее. Конечно, картинку она искажала, портила – фигурка уже не казалась такой прелекательной – размера три в плюс – и рост поубавился, но если держать в уме пропорции оригинала, то смотреть можно. Да и вообще – интересно же...

КОТ

Девушка на меня уже не смотрела. Она устроилась на причале в позе васнецовской Аленушки, целомудренно натянув юбку до самых щиколоток и сильно растирала ладонью ушибленную ступню. Лица разглядеть я не мог, но подозревал, что ничего общего с хрестоматийным образом горькой сиротской доли, созданной живописцем-сказочником, в нем не найду.

«У такой сестрицы-Аленушки в братьях-Иванушках ходить – всю жизнь козлом проживешь, в лучшем случае, а то и прибьют кавалеры, чтобы под ногами не путался... – подумалось мне и я устыдился вероятной несправедливости суждений. – На «гондона», старик, обиделся?! Ну-ну.»

Странный полосатый кот, странный, потому что без ушей – я пытался их рассмотреть, но не видел, – и с большой головой, круглой как небольшой арбуз, выписывая замысловатые кренделя-повороты, зашел к девушке со спины. К этому времени я уже наблюдал за происходящим из под козырька бейсболки – опасно, конечно, но достовернее чем в отражении, – однако не заметил, в какой момент и откуда кот объявился. Жмурясь и выгибая от удовольствия спину, он потерся об острый локоть – клянусь, что расслышал довольный утробный рокот... Девушка вдруг оттолкнула пораненую ногу, будто не свою, чужую и, обхватив руками голову, разрыдалась. Кот неспеша посмотрел в обе стороны пустого причала, потом обвел взглядом безлюдные лодки, заметил меня и подмигнул лукаво – «Ты, что ли, довел?». Не дождавшись ответной реакции, кивнул в знак уважения – «Умеешь!» – и недвусмысленно указал мне глазами на дверь. Ошибки быть не могло, все так и было. Я сообразил, что теперь его выход, тихо поднялся, захватил со стола книгу и в два шага оказался внутри салона. Признаться, всегда недолюбливал кошек. Никогда их не боялся, даже черных. С другой стороны, в них столько тайны, что лучше не рисковать. Оставалось захлопнуть за собой сдвижную створку. Громкий металлический стук был при этом фактически неизбежен – дело не в аккуратности, такая, черт побери, конструкция, – а мне не хотелось, чтобы этот неминуемый лязг был истолкован парочкой на причале как некая демонстрация, вызов. Качки практически не было, тяжелая дверь стояла в полозьях будто приклеенная, и я ограничился тем, что задернул портьеры, стараясь при этом выглядеть безразличным, ленивым и неторопливым. При всей наигранной медлительности, в солнечных штыках, во всю дырявивших тяжелые шторы и легкие занавески где только можно, закрутились маленькие тонадо, зависли на мгновение и медленно опали вниз. Миллиарды микроскопических парашютистов, «нанопарашютисты», будущее ВДВ по Чубайсу.

«Надо бы показать десантуре, на что способна пехота с пылесосом наперевес», – возникла первая за день продуктивная мысль, но уже в момент ее «думанья» было ясно, что она сродни идеям Леонардо Да Винчи – слишком опережает время.

В последний момент я не выдержал, оглянулся назад, на причал, воспользовавшись неплотно сомкнутой шторой. Девушка смотрела в сторону от моей посуды, туда, где в отару сбились рыбацкие лодки, обвешанные сетями с ожерельями из пенопластовых поплавков, и ловушками для лобстеров, похожими на старомодные проволочные сеточки для яиц; яйца в таких не бились, хотя и лежали горкой, таких уже нет давно – ни корзиночек, ни яиц с налипшей на скорлупу соломой.

Эти нехитрые приспособления – ловушки для лобстеров – каждый раз заставляют меня думать о том, что, чем глупее еда при жизни, тем вкуснее она потом. Жаль, не случилось проверить гипотезу у канибалов, а может быть и не жаль.

Девушка промокала глаза рукавами майки. Рукава короткие, руки проходило поднимать высоко, как в танце. Так и выходило – мягко, загадочно. Восток... хотя видно, что совершеннейший Запад... Естественно, никакого усердия, все природа устроила. В моем исполне-

нии такие движения навели бы на мысль, что не доверяю дезодоранту. Кот... Куда пропал кот? Наверное, пошел за платком. «Дурак, а я бы смотрел и смотрел».

Я и смотрел.

ПАТРОН БЕЗ ПУЛИ

«Здорово у нее получается не замечать меня – совсем незаметно» Грустно улыбаюсь самому себе: приходится утеплять самолюбие, градус поддерживать, иначе застынет – не откачаешь. А как по другому? Кто не знает, это очень грустное занятие – грустно улыбаться самому себе. Даже представить себе невозможно, как непроста и запутана жизнь вышедшего в тираж дамского угодника. «Теперь все сам!» – начертано нынче на моем незримом фамильном щите. Про герб лучше и не вспоминать. Патрон без пули: порох остался, капсуль на месте, а пули нет. Стукнешь по капсулю – раздастся «Пук!» И всего, заметьте, один единственный раз... Этот «раз» я берегу.

Все-таки чертовски приятно поболтать иногда самому с собой. Как-то однажды, по молодости случилось, утратил я интерес к этой форме общения, по-разному присущей наверное всем людям, как выключилось во мне что-то, одна фаза из двух. Начал я одаривать «откровениями» друзей. Шалил, шкодил словестно, потешался, мнил себя настоящим – таким, что правду-матку в глаза и ничего не боится. Мне отвечали тем же, но чаще просто материли, трижды пытались бить, два раза так и вышло. Довольно скоро рядом со мной из всех друзей-приятелей остался один. Слушал, наверное, не очень внимательно, или не все понимал – я выражал свои мысли довольно сумбурно, а он был корейцем из Узбекистана. Потом, как-то незаметно, исподволь мой внутренний собеседник вернулся, понял, что без него никак, мы вновь обрели друг друга и круг общения постепенно восстановился. Не полный круг.

«Минус один» – корейца отчислили.

Оказалось, я далеко не единственный, кого он недостаточно понимал. Мне льстило пристроиться к Андреевскому, Спасовичу, Плевако – корифеями русской адвокатуры. Пусть не по таланту, однако случилось же! Хороший был парень, наш узбекский кореец, бесхитростный, добрый. Его отчислили, и с наших вечеринок исчезла острая капуста. Я единственный, кто не переживал по этому поводу, гастрит замучал. Кстати, кореец очень походил на кота, не характером – характер у него как раз был очень даже коллективистский – лицо такое, ходил мягко.

«КОТТО» СКОРЕЦЕНИ

Странный все-таки этот рыжий кот. Очень странный и очень знакомый. Я почти не сомневался, что уже однажды видел такого кота, но не здесь, не в Портофино, уж это бы точно запомнил. Такую башку арбузом разве забудешь? И шрам через полморды... Ага, вот ведь, отчего показалось, будто подмигивает мне, негодник... А я уж было подумал, понапридумывал... Шрам...

Вот оно... Порто Колом, Майорка, чокнутый немец с парусника – то ли Ганс то ли Йохан... Он еще избегал давать имена кошкам, делившим с ним палубу, ограничиваясь цифрами. Вроде, говорил, так скорби меньше, если за борт смочет... Чудной парень. Такому при устройстве на работу я бы сказал: «С удовольствием бы вас принял, молодой человек, да вот беда – нет у нас в штатном расписании должности «мудака»...» Для пытливых умов: «мудак» – это такой дурак, от действий которого окружающие страдают куда больше, нежели он сам. Вспоминая Ганса-Йохана, я готов согласиться с автором этого определения, как на заказ сшито.

По какой-то причуде судьбы только этому зверю с неестественно «прилипшими» к голове ушами и вышло от немца послабление. Как же его в самом деле, Ганс или Йохан? А кот – Отто... Точно Отто, как Скорцени! «Котто» Скорцени. Надо же так отупеть – сразу не мог вспомнить... Вслед за именем в памяти всплыла рассказанная хозяином кота какая-то мутная история, происшедшая в Вене... Почему в Вене? При чем здесь Вена? Похоже, что про Вену я только что сам придумал, уже сейчас. И причина понятна: в Вене родился и вырос Господин Диверсант Третьего Рейха. Мне захотелось еще разок глянуть на рыжего бандита, для верности, но не повезло – причал опустел, ни девушки ни кота. Может быть, он вернулся и увел ее, пока я морочил себе голову дурацкими мыслями и воспоминаниями. Отто...

ЖИЗНЬ В КАМНЕ

Причальные камешки уже незаметно для чужих глаз округлились, втянули остатки выступившей на рассвете влаги внутрь крепеньких своих телец, стараясь поменьше попадаться солнцу на глаза, то есть не сразу и не целиком. Потом, чуть позже они станут, соперничая, подставляться под ветер или под людской башмак, чтобы перевернули. Тогда те места, что уже раскалились, окажутся внизу и понемногу остынут. И так до захода солнца, то есть, с точки зрения камня, до бесконечности...

Вряд ли кто знает, что жизнь свою камни измеряют бесконечностями, заблуждаясь на счет конечностей, думают – это только о руках и ногах. Как измерить жизнь тем, чего у тебя нет? У людей получается – чужими талантами или пороками: «Мне посчастливилось жить в одно время с Захаровым, Любимовым, Волчек...» или «Не повезло свои годы прожить в эру Сталина». Камни так не могут, во всяком случае я ничего об этом не слышал, хотя, подозреваю, есть и у них свои герои, негодяи... Жизнь камней – миллиард бесконечностей, каково?! Звучит!

...Если кто из гольшиков рискнет заигрывать с солнцем, неминуемо схлопочет тепловой удар по каменной башке, в каком бы месте камня она в данный момент ни находилась, даже если в тени. Нет на свете ничего тупее камней, кого постигла эта напасть: лежат себе однажды и на всю жизнь перегретые, и тарашатся в небо тысячелетиями. Ни прохладная ночь им не в помощь, ни шторма, ни дожди. Ветер их не замечает, обходит стороной, хотя поворачивать – не его стихия: чего силы зря на тупых растрачивать, тем более, что других камней, готовых в шумом и гамом сорваться наперегонки – хоть отбавляй; ветер озорных любит. Нет уж, чем схлопотать от солнца по голове, уж лучше сразу в песок рассыпаться. Не фонтан, конечно, судьба – так мельчать, но с другой стороны, одним махом миллион новых судеб.

Камешки порасчетливее стремятся попасть людям под ноги. С их помощью да своей сноровкой добираются до неглубоких луж с морской водой. На краю причала такие на каждом шагу, редко переводятся, даже в самые горячие деньки не пересыхают. Высший класс – целиком порузиться в лужу: не галька какая безродная, обитающая, коротая века, в полной неизвестности среди рыб, водорослей и себе подобных, а прибрежный камень «де люкс», никак не меньше, потому что отчасти – среди людей, отчасти – в море... Из под мелкой воды почти все видно, что вокруг твориться, только рябь временами искажает жизнь на причале, но ненадолго, если брать во внимание миллиард бесконечностей, хотя бы одну бесконечность. Смотри себе на мир и жди преспокойно, пока личное море подсыхать не начнет. Если повезет, то на это же самое место волна еще раз пристанет. Многим везет, есть такие, что весь сезон не двигаясь отдыхают, валяются. И никто не жалуется на однообразие; камни.

Маленький черный обмылок, воображавший среди своих якобы вулканическим происхождением, в целом фасонный, но с непропорциональным выступом, похожим на каменную бородавку или зуб он то, подлый, и подвернулся под девичью ступню – был доволен собой: и до лужи допрыгал, и за друга поквитался. Незадачливый мелкий друг – почти триста лет вместе, брат уже, можно сказать – налип третьего дня на кусок жвачки, подобранный где-то на подошву портофинским гостем – «шляются где ни попадая» – и исчез навсегда в направлении города.

«Жвачка – плохой попутчик, ненадежный. Валяется приятель где-нибудь один-одинешенек на асфальте, а может быть, уже и в обнимку с ним...»

Обьятий мягкого, коварно-гостеприимного, похотливого асфальта опасаются все без исключения мелкие камни, населяющие портофинский причал, хотя страхи эти возникли скорее по недоразумению и по незнанию. Чего, спрашивается, бояться, если камни все так или иначе бесполье? Люди, конечно, делают из агатов камеи, но для этого надо быть агатом, да и очереди на операции по обретению пола растягиваются на сотни лет... Впрочем, если ты не агат, то какая разница. Есть в Портофино дюжины три камней – сколов с памятников мужчи-

нам. У этих – свои проблемы, жаждут развлекаться, а развлечение одно – выброшенные на берег морские раковины, но и к ним – строго по записи. После каждого шторма – гульбарий. Обычные портофинские камни их не жалуют, а ракушки пугают ими детей.

Если на чистоту, то альянс с асфальтом – умный брак, по расчету, вся дальнейшая жизнь без забот и проблем. Даже тепловой удар не грозит – всю неумность солнечную асфальт на себя брет, ему это не просто по нраву – тает от удовольствия. Увы, никому из познавших настоящее счастье жизни в асфальте, так и не удастся передать весточку оставшимся на воле, рассказать о жизни, полной комфорта и неги, чтобы перестали бояться попусту. А может быть и удавалось – через песчинку какую – только кто ж доверится такой мелочи, да и ветреные они, песчинки, то туда их занесет, то сюда...

ЗАБОТЫ ГОСПОДНИ

На лодке мне сидеть надоело. Надоело думать о рыжеволосой красавице, встречу с которой, даже в припадке мании величия я не мог бы причислить к многообещающим знакомствам, как и к знакомствам вообще, если быть педантом. На приключение утреннее происшествие тоже ни с какой стороны не тянуло. Конечно, была возможность самому устроить приключение, и понырять в поисках разбитого телефона, только чего ради? Представил себе, как провонявший мазутом, с радужным переливом в волосах, налившим в районе шеи размокшим бычком «Честерфилда» или «Мальборо» (всё-таки, «Мальборо» – это вкус приключений) бреду среди разодетых и праздных отдыхающих, а в вытянутой руке, на раскрытой ладони – крышка от телефона, аккумулятор и пара кнопочек с цифрами. Отдыхающим до меня дела нет, они выше того, чтобы раздражаться по пустякам, а вот официанты рестораников и кафе недовольно морщатся и стараются не встречаться со мною взглядом, вдруг вздумаю подойти... Это у них от общения с бездомными псами. Правда, здесь в Портофино бездомных собак я не видел, но точно знаю, как на них реагируют официанты в других местах. Вот так совершенно случайно, исподволь, выясняется, что в ресторанах обслуга не местная, подписываются на сезон. Иногородние. «Лимита», по-нашему.

Только зачем мне это знание – вот вопрос.

...И вообще, у меня последние года три под водой уши закладывает, не могу погружаться, раньше такого не было. Доктор пошутил, что Господь не хочет из виду меня выпускать, беспокоится. Ему-то чего переживать?! Даже в шутку не понимаю...

С удивлением заметил, что в туалет на моем причале ни с того ни с сего выстроилась очередь, словно на все Восточное Средиземноморье осталось открытым одно единственное отхожее место, а в остальных в это время хозяйничают уборщицы, перегородив вход швабрами для мытья полов. Пристраивают вялые шевелюры в пластиковые ведра, как головы в сушильные колпаки в парикмахерских, только верх ногами, а болтают также, как и парикмахеры, без умолку. Что им до чужих страданий – своих невпроворот! Пока самому не приспичит, я отлично их понимаю, даже сочувствую. В другое время думаю: «Если бы я так с животным обращался, меня бы уже привлекли за жестокость... А кого, спрашиваете, за меня привлекут?»

Очередь смешанная, были бы мужики – решил бы, что где-то до срока уже пиво дают. Было бы здорово: все Портофино за четверть часа обыскать можно, если спросить неудобно. А может и на первой же стометровке повезти, здесь все близко. В конце концов, если к пьяным Бог милостив, то и похмельные вправе рассчитывать хотя бы на половину приязни. По мне, правда, все должно быть наоборот: я пью – не мучаюсь, все страдания – позже. Но кто же думает о таких пустяках, если ты Бог? Я бы скорее всего тоже не стал. Прости, Господи...

Так или иначе, пора было срочно сваливать, не ровен час хвост очереди упрется в мою корму и кто-нибудь поинтересуется робко, нельзя ли воспользоваться моим «ватерклозетом»... Ненавижу отказывать.

Если бы не штормовой прогноз на ночь – убрался бы отсюда куда-нибудь. Да хоть на Эльбу – восемь – десять часов хорошего ходу, а по спокойному морю и того меньше. Но не судьба.

Я довольно легко преодолел по воздуху расстояние от конца выдвижного трапа до причала. Соскок вышел, возможно, не олимпийским и даже, весьма вероятно, не очень элегантным, судя по реакции очереди, зато без травм. Даже руки не пришлось задействовать. С удовольствием поучаствовал в коллективном выдохе облегчения. Хотел было заметить всем искренне за меня болевшим, что когда находишься в очереди в туалет, и не для того, чтобы

руки помыть или кому-то составить компанию, – так резко выдыхать опасно, но решил, что люди опытные – сами соображать должны.

Собирая трап с пульта-брелока, осмотрелся: справа – голландец, слева – англичанин. Голландец стоит вплотную, судя по состоянию – не очень летучий: темно-синие высокие борта просолены как шинели красноармейцев после перехода через Сиваш, буквы странного имени «Три сестры» протекли ржавчиной и совсем не блестят.

«Три сестры»... Ничего не слышал о какой-то особенной популярности Чехова в Нидерландах. Или это другие какие сестры – не Ольга, Маша, Ирина, а, например, Тэсс, Мод и Анук? Ох уж эти голландцы со своими кофейнями и грибами. Подумать страшно, сколько «Мертвых душ», «Преступлений и наказаний» ходило бы сегодня по подмосковным водохранилищам, разреши правительство «мягкую» наркоту. Впрочем, есть люди, у кого с этим делом и без разрешений – полный порядок: недавно рассматривал в журнале макет отечественной яхты «Хождение по мукам». Или это статья так называлась? Надо было читать, а не только рассматривать...

Англичанин расположился слева, через свободную воду. Странно, что в сезон в Портофино пустуют швартовки, но, судя по всему, это случайность, ненадолго. Всяко бывает – зарезервировал, оплатил, опоздал, «Касса назад деньги не выдает». Рано утром, по-моему, и англичанина не было, но упорствовать не стану, не туда смотрел. По привычке глянул на название, не очень результативно, процентов на пятьдесят – хозяйева полотенце на просушку через корму перебросили, прочитал только английское «Старый».

С полсотни шагов по инерции фантазировал: «Старый... – блюз, парус, брюзга, осёл, шкипер, аккордеон, шут, квартал, сосед, вальс, башмак, пень, долг, друг, замок, кофе...» Поскольку «старая» звучит и пишется по-английски точно также, перешел на женский род и... почти сразу же оказался перед дилеммой – продолжать или устыдиться собственной невоспитанности...

Узкими улочками, заложив небольшой крюк по Вико Каноника – без конкретной цели, просто захотелось пройтись – поднялся по Виа Рома к «большой» дороге, недалеко от помпезного здания городской портофинской коммуны. Отсюда принято начинать как плановые так и спонтанные путешествия по побережью – здесь стоянка такси.

– В Специю, – бросил небрежно в окно «загорающему» на парковке таксисту. Тот покачал головой:

– В Санта-Маргариту.

По большому счету, мне было все равно, препираться на хотелось, к тому же Санта-Маргарита ближе всех к Портофино.

– Поехали.

На самом деле я сказал «Окей». Звучит с маленьким взрывом во рту, почти также как «Пха...ли», но щеки не надулись, так что выглядел я вполне пристойно.

Таксист снизу вверх осмотрел меня, такого молчаливого и покладистого:

– Пятнадцать. Туда-назад – двадцать пять. Хорошо – за двадцать.

Я выждал минуту, зачем мешать человеку, пусть сам с собой поторгнется, но он уже сговорился с собой, цена застыла.

– А если назад не сразу?

– Без проблем, вот номер, позвонишь, и я за тобой приеду. Да, все точно, за двадцать пять, как договорились.

– Еще не договорились. Двадцать.

Мне не было жалко денег, просто ленивый торг на солнцепеке напомнил студенческие каникулы в Сухуми, и я подумал, что не буду сегодня привередничать, никакого пижонства: только простое, самое дешевое домашнее вино, поджаренное на углях мясо, хлеб и овощи. Моя персональная гастрономическая машина времени. Машинка времени. Она частенько вывозит

меня в одни и те же воспоминания, зато безотказно. Там все по-прежнему, ничего не меняется, если только к лучшему: в воспоминаниях я лёгок на меткое слово, разумен и выгляжу как никогда не выглядел...

– Договорились. Двадцать пять.

– В Санта-Мargarиту, потом назад, – киваю я, подтверждая уговор. Словно ни в какое другое место и не собирался. Обожаю Санта-Мargarиту. Далась мне эта Специя...

Водитель, полуобернувшись, непонимающе смотрит на меня, устроившегося на заднем сиденье.

– Двадцать пять, – успокаиваю его.

Он сокрушенно качает головой «Как всё-таки с ними трудно...», или «Надо было поступать на юридический»

Неважно о чем он думает, главное, что наконец трогает автомобиль с места.

Всё точно. Сухуми. Или правильно – Сухум?

МАТЕМОРФОЗЫ

С чем-то я явно переборщил, скорее всего с овощами. Вернувшись на лодку и выведя из дремотного состояния ноут-бук, дабы освежить погодные данные, зачем-то то полез в биографию Отто Скорцени. Наверное всему виной шрам на скуле водителя моего такси, напомнивший мне о рыжем мерзавце, которого я невольно искал глазами в порту весь недолгий путь к своей лодке, намереваясь спросить, куда он увел свою спутницу... Не думаю, что пытался по имени «Отто» найти в интернете портафинский адрес животного, это вряд ли, даже для меня это было бы слишком, хотя кое-кто из близких друзей и поскребет недоверчиво ногтем бровь.

Как бы там ни было, но я с головой ушел в подробности удивительной жизни человека с польской фамилией, которую, если следовать правилам, следовало бы произносить как «Скожены», а вовсе не Скорцени. Поговаривали, что одним из немногих, у кого получалось не каверкать фамилию Отто был еще один австриец, звали его Адольф.

Поразительная история: оказалось, что примерно в то время, когда я впервые смотрел «Освобождение» Юрия Озерова, в частности эпизод про спасение итальянского диктатора, все равно потерявшего власть безвозвратно, как шевелюру, хоть и позднее, Отто Скорцени – автор и исполнитель отчаянной миссии – безбедно доживал свой век в испанском Мадриде, находясь под личной опекой генерала Франко, и даже сподобился основать в Испании свеженькую неофашистскую группу. Мне же в то время казалось, что война – невероятное прошлое, куда ближе к революции и Ильичу, чем ко мне. По календарю, кстати сказать, примерно так и вышло – пара лет разницы, а по ощущениям – несколько десятилетий. Каждый день я проживал среди ветеранов той самой войны, а в кино почему-то смотрел в перепачканные окопной грязью, закопченные лица озеровских солдат и ни разу не разглядел в них ни соседей, ни учителей, ни папу с мамой... Деда слегка себе мог представить, наверное, потому, что дед не вернулся... Вероятно то, что я видел в кино, по моим мальчишеским представлениям, нельзя было пережить и все, кто уцелел, должны были быть на какой-то другой войне.

«...Вот, откуда у Отто шрам. Завзятый дуэлянт... Пятнадцать студеских дуэлей на шпагах! Серьезный парень. Был. Поединок, удар шпагой по левой щеке...» Я крепко зажмурился, вспоминая кошачью морду: тоже слева. Мне не стоило закрывать глаза, кто-то недобрый в тот же миг изобразил на веках – с внутренней стороны – рыжую ассиметричную морду... Снизу ее подпирал белоснежный воротничок, зажатый лацканами черного мундира, Рыцарский крест прямо по центру... Мои глаза распахнулись шире обычного и видение исчезло, но моргать стало страшно. Я опустил экран компьютера, поднялся, сделал несколько не самых уверенных шагов... Незамеченным, хотелось надеяться, выглянул в щель между двумя задернутыми портьерами, прямо по центру: по причалу прогуливались какие-то люди, вполне обычные. Кота не было, девушки тоже.

«Признайся себе, что и не было их никогда», – протянул сам себе руку помощи.

«Никогда».

Поди разберись, что я имел ввиду этим своим «никогда».

Наверное, я ухмыльнулся, не помню, но должен был: когда я доволен собой, то всегда ухмыляюсь.

Я рывком развинул тяжелую ткань и вышел в кокпит, кивнув приветливо помахавшему мне соседу с «англичанина», чье название начинается со слова «Старый» или «Старая». С таким же успехом – «Старые»...

«Друзья, кости, песни, раны, привычки, уроды, консервы, бабы, газеты... Хорошее название для лодки – «Старина». Что-нибудь этакое, винтажное: темно-синий корпус, много лакированного дерева, штурвал солнышком компас бронзовый, непременно спиртовой... Размечтался, старая жопа, хрыч, болван...»

Я немного постоял, глядя бесцельно по сторонам, сделал вид, что проверяю, хорошо ли натянуты швартовы, провёл ладонью в том месте борта, где по моим представлениям могла остаться отметина от телефонного аппарата. Примерно там ее и нашел. Вот только откуда она взялась и когда появилась? Сто лет не осматривал лодку снаружи.

«А надо бы».

Мне стало смешно – я вспомнил кота в немецком мундире. Я давно замечал, что на свежем воздухе многие ужасы теряют свой зловещий окрас. Обращали внимание, как часто люди, получив от жизни очередной пинок в особо чувствительное место, говорят: «Мне надо на воздух»? Наверное, еще и поэтому нас с детства приучают спастись с открытой форточкой, даже зимой. Не только в закаливании дело.

Вслед за этим я неожиданно подумал, что рыжему хвостатому Отто мундир Русского фельдмаршала подошел бы ничуть не хуже эсесовского. А если еще и поязкой пораненный глаз прикрыть... Вспомнилась «Гусарская баллада» и мурлыкающий душка Ильинский... Игорь Владимирович в роли Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Клянусь, даже лучше бы русский мундир коту подошел, тем более, что, видать, сытно ему живется на портофинских хлебах, упитанный.

Давным давно, в годы начала моей адвокатской практики, еще на родине, один из начальников установил в офисе код сигнализации «1812» и устроил конкурс на лучший словесный пароль, который следовало было передать в охранное агентство. После вполне предсказуемых «Бородино», «Наполеон», «Кутузов», эпатажных – «Наташа Ростова», «Батарея Раевского» и «Шевардинский редут» он сам неожиданно для всех выдал версию – «Голенищев». До этого, признаться, все считали его скучным тупицей. Жаль, что наш недолгий совместный труд, несмотря ни на что, подтвердил правоту первого впечатления. Пароль оказался случайным проблеском мысли, а скорее всего – домашней заготовкой его умной жены Евгении, умненькой женушки Женечки... Умненькой и хорошенькой.

«Интересно, а что сказали бы кадровики, доведись мне устраиваться на работу следующим в очереди после Ганса – Йохана? Про немца забыли бы напрочь. Тогда, спрашивается, какого черта мне помнить о нем, о его рыжем коте, его одиозном тезке?»

Я медленно глубоко вдохнул – «Влажность то какая...» – и резко выдохнул из себя всю эту чепуху, а чтобы она не воспользовалась случайной заминкой и не проскользнула незаметно назад, быстренько вернулся внутрь лодки, включил компьютер – все это, заметьте, проделал, задерживая дыхание, по честному – всего два раза сжульничал, и разом закупориваю все лазейки доброй порцией чистого джина. Пощадил напиток, не стал истязать тоником, и без того он, несчастный, больше чем на половину разбавлен водой. И дурак: с тоником его было бы больше. И не дурак: пока бы лез в холодильник за тоником, точно бы задохнулся, а третий раз жульничать – это уже слишком.

Потом на Портофино излился дождь, будто кто-то наверху взялся строгать бесконечную водяную глыбу на крупной терке. Его первые капли казались мне тяжелыми, жирными и на удивление прочными. Все от того, что они не сразу разбивались в лепешку о палубу, а на долю секунды застывали на ней подобием лягушачьей икры, и только потом разлетались мелочью брызг, расплющенные такими же водяными снарядами. Если не верите, значит на вас неразбавленный джин действует по-другому, скучно действует. Пробуйте, экспериментируйте, Бог вам в помощь... Долго смотреть на дождь оказалось занятием утомительным и я ушел спать. Волна накатывала серьезная и матрац подо мной, подло злоупотребляя земным притяжением, вознамерился получить самый глубокий и подробный отпечаток моего «бэушного» тела, а затем и вовсе сбросил на пол будто неликвид... Временами в мой сон врвался вой натянутых будто струны швартовых, шум, крики, а однажды почудилось, что кто-то пробежал по палубе прямо над головой. Не просыпаясь окончательно, я тем не менее вспомнил, что дверь в салон точно запер.

«А подите все... Вам нужно, вы и бегайте... Все чем могу...»

...И рухнул вместе с лодкой с очередного вала, возможно глубже, чем раньше, так как уже не взлетал более до самого рассвета. Если только телом, но в любом случае, не настолько высоко, чтобы вновь оказаться на койке.

Утром обнаружил, что прижимаю к животу раскрытую брошюру «Спасение на водах». Видимо, ночью замерз слегка, до чего дотянулся – тем себя и прикрыл. Случись что-нибудь отчаяно плохое – так бы и затонул с наглядным пособием в руках. Народ в местной полиции со смеху бы поумирал. Хоть какая была бы от меня польза.

Мне первому было суждено оценить нежное утро после шторма. Дальше известно: желтый предмет, багор...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГНОМ ЖИВ

Если бы я был гномом и прикинулся мертвым гномом, то, возможно, кто-нибудь сжался бы над моим неживым тщедушным тельцем – жара, все-таки, завоняюсь – и поместил бы на время, до приезда гномо- труповозки, на лед, в мини-бар. Вот бы все удивились...

Я уже сдулся до размеров гнома, еще больше – до детской игрушки, погремушки, вдохновенно бесчинствующей в моей голове, а сжалиться надо мной некому.

Кошмар: гном по-прежнему жив.

Невежливо тяну за глумливый желтый язык никем не востребованной находки – такой же сухой как мой и такого же цвета. Надоело слепо доверять тесту на «взвешивание-позвякивание», есть масса уловок, спросите на заводских проходных.

Мне не нравится название, придуманное для теста. Если бы не сам его и придумал, то сказал бы матом. Лучше: «Тест взвешиванием на позвякивание». Действительно лучше?

Сухой «зип» поддается с треском электрического разряда. Помните школьные уроки физики и эксперименты с натиранием эбонитовой палочки? У мальчиков всегда получалось сноровистее, в то время как девочки действовали интуитивно, но несмело, не имея ни малейшего представления, сколь бесценный опыт приобретают на будущее. Ихтиандр на этих занятиях всегда краснел. Не от старания, видимо тогда уже знал что-то такое, о чем я еще только догадывался.

Раннее-раннее утро, а я уже дважды вспомнил Ихтиандра. К чему бы? Неспроста. Ну конечно: день рождения Ихтиандра приходится на лето, точная дата давным-давно вылетела из головы и не вернулась, но то что летом – можно не сомневаться. Его родители всегда в этот день приезжали в пионерский лагерь с литровой банкой растявшего в пути мороженого... Мы быстро опустошали посудину – родители именинника торопились назад в город, – споласкивали банку в ручье и неслись, липкие и счастливые, назад на территорию, опережая мух и ос. Позже, в армии, осваивая новый отсчет времени по системе МСДП – «Масло съел – день прошел», двадцать граммов масла давали к завтраку, я вспоминал эти банки с морженным: «Банку съел – год прошел»...

ШУМПОМАТЕРИ

В кино на «Человека Амфибию» мы сорвались сразу после школы вместе с приятелем – Шумом, по матери... Фамилия у нее была Шум, произносить надо было в одно слово – Шумпоматери. Фамилия отца Шумпоматери была труднопроизносимой – Эйзенманц или Эйзенгольц, точно не помню. Помню, под псевдонимом Марат Баюнов он читал на местном радио детские сказки. Наверное хорошо читал, я в это время уже интересовался Дюма и сказки не слушал, отсюда и неопределенность в оценке, а мама слушала Баюнова, когда возилась на кухне, ей нравилось, она звала его Кот Баюн и гордилась личным знакомством, все-таки человек искусства. Это в ее понимании, кроме всего прочего, означало – «необычно мягкий и обходительный». Может быть еще что-то из того-же «плюшевого» словаря. Кот Баюн соответствовал. Как-то он возвращался с утренней вылазки за грибами, по дороге решил и нам занести десяток подосиновиков – на жаркое с картошкой. Дверь открыла бабушка. Зрение у нее было никудышнее, очки, как водится, забыты на тумбочке – без других очков их трудно искать, – и Кота Баюна она не признала. Немудрено: на нем – шапка лыжная, телогрейка, под ней – тельняшка, ниже – сапоги, батфорты резиновые, рыбацкие. Но бабушке хватило и тельняшки, полосы незастырянные, четкие:

– Молодой человек... Вы, наверное, краснофлотец? – строго поинтересовалась она. В старости моя старорежимная бабушка неожиданно обнаружила способность с помощью одного точно сформулированного вопроса устанавливать сразу и профессиональную и классовую принадлежность собеседника. Наверное, это свойственно людям, которые чувствуют, как их земной срок понемногу подходит к концу, они подсознательно избегают растрачивать время на лишние слова.

– Краснофлотец? Нет, наверное... Скорее всего нет... Точно нет... А вам, Анна Романовна, очень важно, чтобы я был краснофлотцем? Вы скажите, для вас я с удовольствием им побуду. Если нужно.

Короче, само обояние. Несмотря на скороговорку.

Наследник Кота Баюна, дабы не усложнять мальчику жизнь многосложной фамилией, был вписан в материнский род Шумов. Этот выбор устроил всех, но Отец Эйзенманц или Эйзенгольц в первом учебном году объявился в учительской попытаться похвастаться успехами сына: «Я отец Шума... Знаете, Шум, по матери...». На беду, в углу учительской, троица отстающих курильщиков из восьмого класса занималась русским... К слову сказать, и учителя не подкачали – у физика, говорят, даже очки запотели от смеха. Вобщем, приклеилось произзвище намертво, хотя прозносить его было намного труднее чем просто Шум, хорошо еще, что не приходилось склонять.

Что касается имени Шумпоматери, то короче люди выдумать не смогли – Ян. На уроках учителям нравилось произносить его имя. «Теперь ты, Ян» – говорили они, когда до звонка оставались считанные минуты. Если бы к вызвали Александра или Наталию, да еще с озвучиванием фамилий, поскольку в любом классе Александров и Наталий было пруд пруди, времени на ответ не осталось бы. Ян же отлично укладывался: до первых признаков звонка (Помните? Легкий шелест, дуновение электрического ветерка, предвворяющее сам звонок? Слышат, чувствуют только ученики...) он отчетливо, звонким голосом повторял только что заданный вопрос, иногда, если оставалось время, переспрашивал. Но в целом, неудачное имя для школы. Я бы хотел, чтобы меня исключительно на время школьной десятилетки назвали в честь водогрязеторфопарафинолечения² и фамилию выдали из этой же коллекции.

² Согласно орфографическому словарю Российской академии наук (отв. редактор В.В.Лопатин) это самое длинное существительное без дефиса (Прим. автора)

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Целлюлоидный Ихтиандр нас обоих сразил наповал. И меня, и Шумпоматери. После первого сеанса мы прошмыгнули за экран и прятались там до начала следующего, уличили момент – и обратно в зал. Сидеть пришлось на ступеньках, в зале было битком.

Дома я улегся животом на ковер, вытянул перед собой руки и долго производил руками плавные волнообразные пассы, пока плечи не затекли и локти не раболелись. Передохнув, попытался задействовать ноги, но катастрофически мешал пол, и ковер шел волнами. Волны, вроде бы, то что и надо, но уж очень пыльно. Под конец я чувствительно сткнулся об пол подбородком и прикусил губу, но Ихтиандр... он же был «за наших», а значит обязан терпеть и страдать. В этот момент мне и пришла в голову идея – как надо играть в Человека – амфибию.

Вечером мама Шумпоматери, вся, как есть, Шум, пожаловалась моей, что Яник почти час пробыл в ванной и воды на пол расплескал – ужас, «хоть бы к соседям не протекло», а я потирал ушибленный, подпухший подбородок и жалел, что мне самому не пришла в голову такая простая идея; ведь сама напрашивалась. Я тут же перезвонил приятелю и попал на маму Шум. Так я узнал, что Шумпоматери летом поедет в Артек, что к соседям по этажу прибился рыжий котенок, что-то про двоюродную сестру Яника и двоюродных братьев... «Старший опять сбежал из дому, за последний месяц дважды... Это очень плохо, никогда так не делай... Их мама опять чуть не умерла. Вот все вы так...» Наконец, удалось заполучить к воспаленной трубке того, кому собственно я звонил, и поделиться гениальной задумкой. Сосредоточиться после вороха вываленной на меня мамой Шум информации было трудно, но удалось.

Идеи и впрямь становятся силой, когда овладевают массами, в этом с Владимиром Ильичом трудно не согласиться. Шумпоматери легко, с интересом и даже с благодарностью воспринял мою идею. И хотя массой похвастаться он не мог – мама Шум всегда жаловалась: «Яничка так мало ест! Такой весь худой кашей!» – мы оба почувствовали, что жизнь наша обретает новый смысл. Будущий Ихтиандр немного печалился, что не в его голове родился гениальный план, но жил он в сравнительно новом доме, с современными одинарными окнами и подоконниками с гулькин нос, а в таких условиях разве можно придумать чтонибудь толковое?

СТАРЫЕ ВЕЩИ

Будучи у меня в гостях, Шумпоматери садился за мою придвинутую к окну ученическую парту и мог как угодно долго рассматривать расположенную на подоконнике мою «сцену». Так папа назвал устроенный в гигантском старом аквариуме городок из красных, оранжевых и желтых пластмассовых кирпичей конструктора, машинок и оловянных солдатиков. Последних было столько, что даже частичная переплавка лишила бы бизнеса не одну оловодобывающую компанию.

Когда-то аквариум служил домом для бесчисленных рыбок, керамической имитации Триумфальной арки в Париже и маленькой бронзовой статуи Свободы, можно сказать – статуэтки Свободы, неведомо как появившейся в нашем доме. Сквозь зеленоватую воду она строго грозила мне факелом, когда я подглядывал в «ответы», решая задачи. Видимо думала, что в руках у нее факел знаний, бедная наивная железяка.

Аквариум все время безбожно тек, его регулярно обмазывали по краям липкой гадостью, но она засыхала и превращалась в хрупкую гадость, через которую с прежним напором начинала сочиться вода. На батарее под подоконником не переводились ржавые потеки, но она терпела, а вот плитус, дешевый эстет, от негодования вспучился. В образовавшуюся между полом и плитусом щель можно было засунуть треть ступни, если не бояться, что там кто-нибудь поселился. Я использовал это место в качестве промежуточного хранилища для вырванных из тетрадей страниц с плохими оценками. Если бы эти циферки портили только успеваемость – Бог бы с ними, но они так отвратительно влияли на настроение родителей, что я, любящий сын, просто обязан был что-либо с этим делать.

Однажды летом, когда вся семья вкушала роскошь освобожденного труда на даче, и неделю в квартире не было ни души, аквариум воспользовался моментом и вытек весь, до дна. Интеллигентно вытек, то есть не весь сразу, а ручейком, который быстро высыхал в душевой квартире, так что мы даже ближайших нижних соседей не затопили. С понятием вещь, старой работы: делали с любовью, жил старательно, отошел благовоспитанно. У меня не так давно тостер на кухне забастовал, был исключительно вежливо призван к порядку, а что в результате? Подъезд полчаса без света и лифта, у меня на руке ожог какой-то неведомой степени, а на кухне – ремонт на пару минимальных зарплат, лондонских.

После добровольной отставки аквариума в квартире долго воняло рыбой, никакое проветривание не помогало. Причем, запах был совсем не такой как в магазине «Океан», хотя и там тоже неаппетитный. Наверное из-за того, что рыбки в аквариуме были по большей части экзотически пород, запах мороженой бельдоги был для них недостижим.

Аквариум выбрасывать не стали, вычистили и выставили на балкон – никак не могли решить, нужна ли семье еще какая-то живность кроме меня.

Незримое, но осязаемое задержавшимся в доме душком присутствие аквариума стесняло фантазию старшего поколения: щенки и котята в списке не значились. Идею обзавестись морской свинкой я отверг с негодованием как недостойную. Шумпоматери удивился такой разборчивости, а я объяснил: приходишь домой из школы, жить не хочется, а дома – свинья, и он понял. Тогда у отца и возникла идея – водворить выветрившийся наконец-то аквариум на место, чтобы я мог им пользоваться как... собственным театром. Возможно, источник отцовского вдохновения был прозаичен, он придумал, как увильнуть от ремонта и перекрашивания подоконника с его огромным ржавым прямоугольным пятном, на чем упорно настаивали мама и бабушка. Какая разница.

В свое время папа мечтал ставить спектакли – не удалось, но по-прежнему обожал театр и пытался привить мне способность выстраивать сцены. Последнее словосочетание я расшифровал для себя слишком прямолинейно, причем только первую его часть, поэтому прежде

всего в аквариуме вырос неказистый пластмассовый город... и зажил своей непритязательной жизнью, ужасая старших членов семьи, больше всего бабушку. Хорошо, что ей не была присуща излишняя религиозность, иначе старушка вмиг обнаружила бы во внуке демонов, верховодить которыми мог только демон войны, опираясь на мощь и выучку вооруженных людей из олова.

Единственным, зато преданным и последовательным поклонником моего искусства «строительства сцен» был Шумпоматери. Иногда, если старших не было дома, я позволял ему забираться с ногами на оставшуюся незанятой часть подоконника – тогда можно было смотреть в аквариум сверху, – и это для него было лучше фруктового мороженого в бумажном стаканчике, с палочкой, за семь копеек; я видел.

– Придумай себе тоже что-нибудь такое, – в очередной раз убеждал я друга. Подумаешь, аквариума нет – прямо на подоконнике сделай, у вас подоконники маленькие. Даже еще лучше будет, я помогу, хочешь – половину солдатиков забирай... Или треть.

– Я уже думал, – Шумпоматери смотрел на мою «сцену» и даже не повернулся. – На подоконнике будет неправильно... Подоконник, – это же не фантазия. Подоконник, он же здесь, у нас... Как ты не понимаешь! А здесь – неинтересно.

Теперь же, благодаря изобретательности моего ума, у него появилась возможность не только создать свою собственную сцену-фантазию, но больше того – стать её частью, пусть ненадолго.

В качестве мирового океана был выбран мальчишечий туалет на втором этаже школы – за высоченное окно в торце, а главное – внутреннее расстояние между рамами в полметра, а то и больше.

«Старая вещь... Вещь! – мечтательно шептал Шумпоматери, оглаживая выкрашенную белым могучую раму. – Как твой аквариум. Такая не подведет.»

На первом этаже тоже был туалет и окно, такое же точно. По правде сказать, его я и имел ввиду, когда корпел над планом, но умный Шумпоматери сказал, что забор, выкрашенный пачкающей белой лохматой известкой, чтобы дети на переменах не облакачивались, «убивает всю перспективу». Он вообще довольно часто говорил умные слова, вызывавшие у меня неожиданные ассоциации. В тот раз я вспомнил как в кино расстреливали молодогвардейцев, и кивнул другу. Шумпоматери был очень требователен к своей «сцене», он хотел от нее совершенства. Наверняка и словом пользовался другим – не «сцена», потому что не любил повторять за кем-нибудь, вечно свое придумывал. Со мной, правда, на этот раз придумкой не поделился. Я не обиделся, знал – потом все равно скажет, но уже и сам догадался, что это «фантазия». Шумпоматери выговорил это слово как-то совершенно не к месту, но с придыханием, осторожно, вопросительно, будто с бабочкой разговаривал, опасался что спугнет и не услышит ответ.

Спорить по поводу этажа я не стал, тем более, что предстояло обсудить еще ворох деталей, распределить обязанности по добыче необходимого реквизита, назначить день, определить час... Если честно, то в идее с первым этажом я и сам обнаружил изъян, там рядом библиотека и медпункт, вечно кто-нибудь ошивается, хотя медпункт – это скорее плюс.

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ

Шумпоматери был Ихтиандром уже по щиколотку. Он стоял в серых носках, насосавшихся влаги до полной потери формы и серебристом новогоднем костюме космонавта, только без шлема. Временами он мелко вздрагивал – вода, бурно вытекающая из пропущенного через открытую форточку шланга, была холодной и с каждой минутой становилась все холоднее.

Сперва, когда внутреннее окно еще было открыто, Шумпоматери встал лицом к городу или к «перспективе» как он выразился сам, и тут же возненавидел ее, волчком крутнулся на месте, жалея, что не согласился на первый этаж с видом на забор. Сейчас он старался не думать о страшной высоте за спиной. Увиденная мельком картина схватилась в мозгу, как пальцы, испачканные клеем «Суперцемент», и даже с открытыми глазами и видом на курносые писуары он всё равно летел вдоль трамвайных путей вплоть до площади Октябрьской революции, где все заканчивалось трагически и необратимо. Закрывать глаза вовсе не стоило, это он чувствовал и без экспериментов. Шумпоматери старался реже моргать.

«Чего это он так таращится – думал я про себя, но приставать с вопросом к приятелю не решился. – Наверное, от холода». Ко всему прочему, стекло было толстым, вода шумела, а громко кричать не стоило – услышит ещё кто-нибудь. И без этого на душе было беспокойно. Вроде бы и табличка «Ремонт» на дверях туалета красуется, швабра блокирует изнутри дверные ручки, а беспокойно.

Уроки в их пятом «А» давно закончились, конец перемены для старшеклассников отзвонили минут двадцать назад и свежий табачный дух еще не успел окончательно выветриться из туалетной комнаты.

«Хорошо было бы еще дыма между рам напустить, – подумал я и пожалел, что Шумпоматери такой ярый, «идейный» борец с курением. Божится, что ни разу не пробовал; поэтому, наверное, такой бескомпромиссный. Отношение к табаку было единственным, что нас разделяло. При Шумпоматери я не курил и даже на прошлой неделе выдержалсдержался, не похвастался, что стащил у отца пачку «Трезора», припрятанную теперь в подъезде за батареей. Мой друг обещал, что «честно заложит» меня с курением родителям, если увидит, а я другу доверял, дружбы без доверия не бывает. Из-за него чуть не до самого окончания школы курильщик из меня был не ахти какой, слишком много времени мы проводили вместе.

Когда Ихтиандр оказался погруженным по грудь и с трудом растягивал в улыбке посиневшие губы, вода, с самого начала сочившаяся на стыках рамы, полилась наружу сильнее. Меня это не беспокоило – прямо под подоконником она исчезала под решеткой, закрывавшей сточное отверстие в кафельном полу. Кто же в минуты триумфа думает о том, что происходит снаружи, на улице?

ДОЛГ ВЕТЕРАНА

Учителю труда или Трудовику, как для простоты его называли в школе, в очередной раз стало душно, тесно, а главное сильно муторно на рабочем месте. Располагалось оно в мастерской, выстроенной в углу школьного двора, недалеко от торца основного здания. От того самого торца, в котором находились мальчуковые туалеты. К одноэтажному зданию барачного типа и тянулся пресловутый белый забор, повлиявший на решение Шумпоматери подняться этажом выше, о котором он уже перестал жалеть – холодно было так, что все страхи превратились в кристаллы льда, не таяли, выпали в осадок и не собирались растворяться.

Трудовик вышел из здания и, с третьего раза попав спичкой по коробку, глубоко затянулся фигурно замятой папироской. О том, что к забору прислоняться нельзя он знал лучше всех, сам додумался выкрасить «марку», чтобы не «подпирали почем зря», а прислониться тем не менее к чему-нибудь очень хотелось, нужно было. Мастерская опостылела во всех видах – хоть перед глазами, хоть за спиной, и Трудовик направился к основному зданию школы, где и вознамерился обрести желанный покой. Хотя бы на время. В двух шагах от заветной стены его не на шутку озадачили ручьи, берущие начало где-то на втором этаже и стекавшие по ложбинкам в старом выщербленном красном кирпиче.

«Вот прислонился бы щас чистым халатом...»

Он отступил на шаг, задрал голову и в то же мгновение пожалел, что вышел из мастерской. Не то, чтобы принял серебряную задницу Шумпоматери за привидение, даже с такого угла задница отлично угадывалась, дело было в другом: по всему следовало срочно бежать в учительскую докладывать о происшествии, а этот поступок грозил стать последним в его трудной педагогической карьере.

«Срочно бежать!» – приказал себе Трудовик, не двигаясь с места.

Он еще один раз пожалел, что в свои заслуженные годы так и не научился вовремя останавливаться с выпивкой, вот и вчера... Или уже сегодня? Вобщем, разговаривать на равных он мог только с буфетчицей, физруком и несколькими понимающими жизнь парнями из старших классов. Причем, только отвечать, то есть проявлять уважение к собеседнику, и желательно кивком, не дыша. Во всех прочих случаях следовало бы занять позицию против ветра, желательно сильного, а лучше шквального. Тут еще завуч с позавчерашним (или вчерашним?) последним предупреждением... «Кому угрожать вздумала, малохольная?! Ветерану! Говнюшка нашлась... Ветерану...»

И долг ветерана возобладавал.

Бежать вокруг школы Трудовик не мог, любым другим маршрутом, впрочем, тоже, поэтому он двинулся к цели быстрым, так ему самому казалось, уверенным шагом. При этом нещадно потел и ругал себя, не жалея, за то что вообще на работу вышел:

«Вот она, сознательность, до чего людей доводит. Был бы беспартийным, валялся бы себе дома на отомане. Дочка соседская сгоняла бы за рассолом на рынок, лучше капустным... Огуречный тоже сойдет, но лучше капустный. Вот, дура малолетняя, наверняка огуречный бы приволокла, хотя и выбор был...»

Возле учительской он уже форменно умирал, отчаяно задыхался и тер ладонью левую сторону груди.

Дверь распахнули изнутри – на шум и запах.

КОНЕЦ ФИЛЬМА

Пролетевший по корридору учительский клин одним ударом с налету вынес напрочь дверь туалета. Деревянная ручка швабры только хрустнула, я даже не успел испугаться. Шумпоматери, расставив в стороны руки, смешно приседал выворачивая наружу колени, чтобы не упирались в стекло и уходил с головой под воду – исполненная мечта ее согрела. Он походил на таитянского божка, который сидел на полке в кабинете отца, только худой и дешевле – отцовский божок был пузатый и золотого цвета, тогда я думал, что он вправду сделан из чистого золота и всем об этом рассказывал; странно, что нас не обокрали... Шумпоматери был серебряным, а части тела, неприкрытые тканью, включая лицо, отливали серо-голубым. Все было гармонично и в тон. Нет не все... Темно-карие глаза торчали, как большие пуговицы, пришитые к морде серого медвежонка в его спальне, они не вмещали всей гаммы переживаемых эмоций и даже при погружении, переполненные изнутри и снаружи, не могли закрываться. Толща воды делала их еще больше, добавляя взгляду восторженной сумашедшинки.

Военрук быстро перекрыл воду и потянулся к шпингалету. Завуч по хозяйности заорала так, что даже Шумпоматери дернулся, нешуточно разволновав маленький мир своей необъятной фантазии:

– Назад!!! До подвала прольет!!! Там новый паркет сложен!!!»

Военрук так громко скомандовал себе «Отставить!», что теперь закричала учительница пения, зажимая ладонями уши, чтобы самой не оглохнуть. При этом она упустила на мокрый пол журнал второго... то ли «Б», то ли «В» – я не разобрал. Да и неинтересно мне было. В этот момент я, к стыду своему, даже про Шумпоматери забыл, думая лишь о том, как же это здорово – уметь командовать самим собой вслух! Например, тянешся к конфете и тут: «Не брать!» И не берешь. Садись за домашние задание... «Не делать!»...

Позитивный ход моих мыслей прервал Трудовик, он как раз подошел. Выглядел – хуже некуда, мне его стало жалко. Похоже, на это чувство к старому пьянице только мы двое и были способны: я и он сам.

– Лестницу надо. Снаружи приставим и откроем. Стамеской. У меня в мастерской как раз есть такая, побольше...

Похоже, что Шумпоматери его расслышал, потому что постучал изнутри по стеклу согнутым пальцем, разогнул его и погрозил всем сразу, делая страшные глаза.

– Ребенок... и тот понимает, что вытечет на... На улицу, вообще, вытечет, со второго этажа, – по-мужски, без надрыва урезонил Трудовика Военрук, и тот понял и принял доводы. Главное же, сердцем и носом почувствовал, что «с этим парнем, хоть и новенький» можно было бы разговаривать сегодня ничуть не хуже чем с физруком... И в разведку тоже можно... Значит, все было не зря.

Завуч, брезгливо переводя взгляд с одного на другого, вздохнула наиграно и взяла инициативу на себя. Ей по должности было положено:

– Все разом заткнулись и слушают сюда! В форточку пройдет?

Присутствующие с сомнением окинули взглядом Ихтиандра. В воде и в объемном серебряном костюме новогоднего космонавта он выглядел крупнее, упитанным.

«Вот бы мама его порадовалась», – подумал я.

– Сама вижу, – отмахнулась завуч. – С завтрашнего дня... Для тупых поворяю: с завтрашнего дня, чтобы никаких пончиков в буфете. Это ясно? Я специально проверю.

Других идей, по-видимому, у нее не было.

Шумпоматери, похоже, что-то расслышал про завтрашний день и опять делал большие глаза, над водой, ему приходилось стоять на ципочках. Я позавидовал, что его не заставляют так часто как мен самого стричь на ногах ногти.

Завуч смерила строгим взглядом застывшую учительницу пения – маленькую, худую и несчастную, мокрой стороной прижимавшую к кремленовому платью журнал неопределенного мною второго класса. Видимо, беззащитность для того и нужна, чтобы те, кто не смог, вовремя не успел прикинуться беззащитными, в полную меру ощутили свою ответственность. Ответственность за всех тех, кто оказался быстрее, проворнее.

– Надо что-то делать, товарищи, – совершенно другим голосом – спокойно, собрано, веско сказала завуч. Даже Трудовик с Военруком бесстрашно подались к ней.

Похоже, на слове «товарищи» на меня впервые обратили внимание, «певичка» не в счет.

– Лишних уберите! – прозвучала отчетливая команда.

Меня без труда развернули за плечи и передавали по цепочке, пока я в конце пути ни очутился у двери, за спинами взрослых. С этого непрезентабельного места я и выступил с заявкой на авторство; выбрал время:

– Я не лишний! Это я все и придумал! И вообще, Ян – мой лучший друг!

В этот момент Ихтиандр со всех сил пнул коленом в стекло и оно сперва треснуло, сразу по двум линиям – горизонтально и по диагонали, почти что по всей высоте, вслед за этим нижний кусок с хрустом вывалился, а «фантазия» Шумпоматери врезалась водопадом в планету «школа» и столкновение не пережила.

– Ё – ё – ё – ё!!!

Кто издал этот звук, честно говоря, я не понял, не взялся бы даже гадать, мужской голос был, или женский, какая разница. Кто угодно, очутившись посреди бурного потока неубывающей воды имел полное право так закричать. До меня, к самым дверям, волна не дошла – так, брызги, но и я подхватил это «Ё-ё-ё-ё!», за компанию. Были и другие слова, они следовали сразу за подхваченным мною звуком, я их запомнил, хоть и не все. На меня оглянулись. В принципе, выражение лиц у всех было одинаковое, оно требовало возмездия. А я стоял себе и повторял про себя новые слова, заучивал, чтобы потом пересказать Шумпоматери. Мы знали немало других, а эти – нет...

Через минуту другую мокрый от пояса и ниже военрук – он стоял ближе всех – открыл-таки нижний шпингалет, а я подсказал ему про стремянку в туалетной кабинке, без неё мне не удалось бы потуже закрыть верхнюю защелку рамы. К слову сказать, лестница всё это время торчала у всех на виду, но подсказать мне было не жалко. Впрочем, я не приминул в мыслях упрекнуть присутствующих: «Собраннее надо быть, внимательнее... Вам бы только у других внимания требовать.»

За разбитым стеклом в обвисшем, мокром насквозь серебряном костюме космонавта стоял Шумпоматери. Его заметно лихорадило, он улыбался, причем губы вообще потеряли какой-либо цвет, даже синий исчез. С обесцвеченными губами он был сам на себя не похож, но, вне всяких сомнений, счастлив. За его спиной открывалась удивительная перспектива на Советский проспект, Путевой дворец Екатерины Великой, памятник Всесоюзному старосте, Мединститут... и неизбежную суровую порку.

«Хорошо бы ею и обошлось... А то опять не будут с ним дома три дня разговаривать, как в прошлый раз...» – понадеялся я на житейскую мудрость Шума и Эйзенманца – Эйзенгольца.

– Конец фильма, – отчетливо выговорила завуч.

«Смотрела», – подумал я, но отношения в завучу не изменил.

МАГИЯ УРОКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ДЕТСТВЕ

Шумпоматери вытирали наскоро снятой с окна занавеской из кабинета химии, от нее пахло пылью и наверное неслучайно, так как после нее тело Шумпоматери стало грязным. Потом, когда его растирали спиртом, там где терли, образовывались розовые проплешины, и я знал, что это и есть настоящий цвет Шумпроматери. Про спирт не забыли предупредить, что это не медицинский, а какой-то другой, страшно опасный – «Сто грамм внутрь и всё – слепота на всю жизнь!» Почему-то все ужасы, рассказанные мне в детстве про алкоголь, начинались со ста грамм. Вот и бабушка дома тоже пугала: «Сто грамм выпьешь, и уже никогда от этой гадости не отвяжешься». Правда, в тот раз, в школе, предупреждение адресовано было не мне. Где то рядом шумно сопел Трудовик. Он, наверное, был готов примириться со слепотой.

В студенческие годы, на картошке, я, всерьез рискуя репутацией, категорически отказался прикасаться к кружке со спиртом. В оправдание непригодности к походной жизни, если не жизни в глобальном ее понимании, рассказал эту историю, и от меня отстали; плеснули белого вина, отложенного для манерных колхозных барышень, спиртом их было не удивить. Когда барышни объявились, пришлось повторяться. Не знаю, все ли селянки расположены так сострадать, или это аномалия Подмосковья, но мужская часть отряда завидовала мне до конца сезона.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Оба мои родителя были в командировке, бабушку нельзя было волновать и на линии огня оказался уже не однажды упоминавшийся дядюшка, брат отца, летчик. Я тоже был вызван в самый страшный кабинет школы, старшеклассники называли его «инквизиторской». Мне это мало о чем говорило, поэтому и боялся я не по заслугам, то есть недостаточно. Стоял себе, инстинктивно прикрывая портфелем причинное место, и кручинился. Я не играл, можно было не напрягаться, повод был, но он так мало общего имел с происходящим в директорском кабинете.

Дядюшка спокойно слушал гневную речь директора, сдобренную живописаниями, что случилось бы с мальчиком, если бы стекло или рама не выдержали, и его смыло бы с высоты второго этажа...

«Случилось еще хуже, – горевал я, пережевывая губу. – Яну запретили со мной дружить, даже по телефону... И у него по-прежнему температура, а я не могу навестить друга...»

– Ясно, – сказал летчик.

Он специально оделся в форму и выглядел потрясающе.

– Обещаю, мы со всем разберемся.

И попросил меня подождать за дверью:

– Выйди.

Без «пожалуйста», что было на него непохоже.

Много лет спустя, такой же прохладной поздней весной, мы с мамой вспоминали Шум-поматери, эту историю с Ихтиандром, и она рассказала мне, что в тот день дядюшка пообещал директору школы алюминиевый бак для дачного душа – поплавков со списанного гидроплана – и трех бойцов на выходные, чтобы бак приладили, ну и грядки заодно вскопали.

– Мам, а откуда крестный узнал, что директора есть дача? Вряд ли тот сам про душ заговорил, такой был сыч... – удивился я.

Мама улыбнулась лукаво:

– Да уж знал.

Я не придал никакого значения этому эпизоду, даже по прошествии времени, директор был мне не приятен даже в воспоминаниях, но через день- другой, когда я уже и думать забыл и про тот разговор и странно уклончивый мамин ответ, она шепнула мне на ухо:

– Роман у твоего дядьки был с директорской женой. Она прехорошенькая была... Поэтесса, но в популярные так и не выбилась, у меня где-то остались вырезки, так себе... К тому времени, правда, у них все уже было в прошлом, но чувствовал себя твой родственник неудобно...

Я не сразу понял, о чем идет речь, а когда сообразил, то подумал, что женщины всех поколений одинаково небрежны в обращении с чужими секретами и творческими неудачами.

КВОТЫ, ДЕФИЦИТЫ, ДОЛГИ...

По дороге домой я гадал: мой дядюшка сам учинит заслуженную расправу или все-таки придержит характер и дождетя родительского возвращения? Если выбирать, то жить в ожидании порки целую неделю было невыносимым испытанием, хуже самой порки, а именно этот традиционный воспитательный метод в то время находился в авангарде педагогической науки, по крайней мере в нашей семье. Надо честно признать, в то время я не разделял приверженности отца, про себя упрекая в костности мышления, даже не догадываясь о существовании этих слов. Мое мнение никого не волновало, а если и возникал к нему интерес во время проверки дневника – «Ремя захотелось?» – от моего ответа все равно ничего не зависело. Но, если вдуматься, кто знает... Я ведь ни разу не ответил «Да!»

На всякий случай из фразы, подслушанной в приоткрытую дверь из яростной директорской речи, я приготовил свою – яркую, которая, так мне казалась, просто обязана положительно повлиять на родителей при выборе формы и, что важно, масштаба неминуемого наказания: «Дорогие папа и мама... Да, я неблагополучный ребенок. Спросите у директора школы». Я уже тогда проявлял себя как будущий юрист, оперируя понятиями «неминуемость наказание». Наверное, я мог бы пойти дальше, чем удалось. Мой предпоследний клиент, изучив счет, даже подсказал – куда, в вопросительной, надо отдать ему должное, форме. Я ответил отказом и попросил отдать должное мне. Умение довольствоваться малым – тоже часть советского воспитания.

Брат отца повел себя непривычно.

– Все понял? – спросил он.

– Понял, – промычал я, думая, как хорошо смотрелась военная форма в школе и как не нравится мне она сейчас. Особенно пряжка на офицерском ремне. Вообще-то, раньше она мне нравилась, как и весь ремень, и сильно, но не сегодня.

– Иди, поцелуй бабушку и – за уроки, а мне пора.

– А родители?

– Что родители? А... Сам все расскажи, про поход к директору тоже. Скажешь, я заставил двадцать раз отжаться и письменно составить список ошибок, допущенных при разработке плана. И то и другое – всерьез, не шучу.

Он первым зашел в комнату к бабушке и пробыл там минут десять, посидел у постели, бабушка уже редко вставала. Уже из прихожей он окликнул меня:

– Слушай, авантюрист, я заметил, у вас в школе такое же точно окно на первом этаже есть... Ага... Перспективу, значит, забор портил? Ну бывай.

Отжался я шесть раз, остальные четырнадцать – мысленно, не терпелось заняться ошибками. Два пункта помню до сих пор. Про дверь в туалет: надо было ручки проволокой изнутри замотать, тогда бы точно не открыли, и про бабушкин кипятильник, которым можно было бы подогреть Ихтиандру воду.

Счастье, что до мамы Шум этот опус не дошел.

Недели через две после истории с Ихтиандром родители Шумпоматери сменили гнев на милость. Мы опять росли вместе, потом порознь учились – чаще перезванивались, чем виделись. Если к телефону походила мама Шум, я выслушивал о трагедиях многочисленной родни, и новых поступлениях приبلудной живности в квартиры соседей.

Кстати, в Артек Шумпоматери так и не попал. Коту Баюну в последний момент отказали в путевке, шепнув доверительно, по-свойски, что в отряде и так уже пять евреев; много, квоты, мол. Правда, об этом мама Шум рассказала не мне, а моей маме, и не по телефону. Зато в восьмидесятом Шумпоматери призвали в армию, несмотря на кандидатскую степень, заступничество института и личное ходатайство ректора. И почти сразу – в Афганистан.

Заместо Артека, наверное.

«Хоть где-то, наконец, случился дефицит евреев», – печально заключил Эйзенманц, он же Эйзенгольд, он же папа Шумпоматери, он же Кот Баюн на повторных импровизированных поминках. Их устроили ради меня, на похороны друга я не успел. Хорошо, что Мама Шум не слышала своего мужа. Впрочем, ничего хорошего: она уже лежала в больнице с инфарктом.

Я сам только что вернулся из Афганистана, отслужил недолгую – из аспирантуры изъяли, – но о том, что Шумпоматери воюет где-то поблизости, не знал. В голову не могло такое прийти, он и прыщи-то на лице давил – промахивался, какая, к черту, война...

Дома я достал из коробки письмо, первое и единственное, полученное от друга в армии.

«Завидую тебе. Теперь ты большой. Помнишь, бабушка моя говорила – «Для того, мальчики, чтобы вырасти хорошим большим, нужно умно побыть маленьким»? У тебя получилось. А мне так и не удается ампутировать в себе детство. Торчит мертвым отростком прямо из души – бессмысленным, почти лишенным нервных окончаний, но вопреки здравому смыслу, все еще очень чувствительным, как хвост собаки к чужим ногам, всякий норовит проверить...»

Что там дальше – не помню. Мне кажется, после смерти Шумпоматери я ни разу в жизни дальше этого места прочесть не сумел.

О своем погибшем друге, которому повезло однажды пожить в созданной им «фантазии», я написал первую и последнюю в моей жизни заметку в газету; осмелел в ночь после поминок. Про гражданский долг, который Родина требовала с него, и он отдал, и уже никому ничего не был должен, и его сразу не стало... А я, выходит, живу, потому что задолжал кладбищенскому сторожу полбутылки портвейна, соседу по лестничной клетке – двенадцать рублей, стране – кандидатскую... и не собираюсь возвращать. «Вот как остопиздит вся эта сраная жизнь – так и отдам», – подумал, но бумаге эту скорбную мысль доверять не стал. Газете я тоже не доверял и письмо в итоге порвал.

Воспоминания о Шумпоматери всегда сопровождает одна и та же совершенно бесполезная мысль, мыслишка-прилипала: как все-таки было здорово не быть взрослыми! Разве мучались бы мы с моим другом сомнениями, держа в руках неожиданно приплывшее таинственное богатство? А может там клад?!

НАБРОСКИ

Свернутый в несколько раз клапан «Грэб бэга» только того и ждал – распрямился во всю длину, будто узкая ладонь в желтой vareжке раскрылась. В самом ее центре ладони призовой конфетой лежала темносиняя флэшка, открывающаяся как складной перочинный ножик. У меня свои такие же, две, помощнее.

На всё про всё у меня семь минут.

Столько осталось до открытия бара, если не врут часы. Быстрым шагом – уложусь в три. Но есть неплохая идея: с минуты на минуту откроется заправка, можно договориться с кем помоложе – пусть сгоняет... Бар, так сказать, с доставкой на борт. Кто придумал, что лень и стремление к идеалу несовместимы? Пропагандистские трюки... Нынче всё совместимо – мужеложество и религия, коммунисты и бизнес, даже «Эппл» с «ПиСи».

В нерешительности кручу в руках флэшку.

Странно: если ценность какая, то почему не внутри сумки? Или в последний момент записывали? Перед чем последний? А если так было задумано, и это послание выловившему мешок... Вместо бутылки – «Грэб Бэг», а вместо записки – письмо в электронном виде. Прогресс, так его...

«Всё одно к одному – судьба».

Отгоняю чувство неловкости: «Кыш!»

Оно тут же робеет и сматывается – как и не было. Результат многолетней жесткой дрессуры, в этом деле я тоже профессор. Сам не понял, когда успел вставить флэшку в свой ноутбук.

Пароля нет. Один единственный файл и, судя по габаритам, весьма пространный. Моё удивление беспредельно: имя файла «Наброски».

Набрано кириллицей, по-русски.

НИНО И ЕГО МЕБЕЛЬ

Если не принимать в расчет вчерашнюю незнакомку (она могла и привидеться) за три дня я ни разу не слышал на лодках русскую речь. В самом Портофино, я имею ввиду набережную, бутики, рестораны – наших полно, но не на лодках. Не исключено, что не там стою, среди мелюзги, большие – на другом причале, размер, как мы выяснили, важен...

«Распространенье наше по планете особенно заметно вдалеке...»

Как, инерсно, обстоят дела с отчужденным фольклором в протофинском отхожем месте? Ни разу не был. Скорее всего – никак. Нино – «пассажир» серьезный, его здесь почти все знают и немного побаиваются, хотя нрав у него не злобный, вполне нормальный мужик, а что ревниво относится к своей работе, так и место в порту не последнее, скорее уж одно из первых по значимости мест в портовом хозяйстве. Я почему-то уверен, что он так и представляется, если случается такая необходимость – «Смотритель Главного Общественного портофинского заведения». Во взгляде его, при этом, никакого лукавства: что говорит – то и думает. Слово «сортир» не имеет прав на место в его лексике, и в семье Нино оно, вероятнее всего, под строжайшим запретом; я бы на его месте поступил именно так.

Не заметить Нино на портофинском ландшафте невозможно, особенно нам, кто посещал курорт на лодках до двадцати метров длиной, ибо наши яхты кормой упираются почти что в самую сферу ответственности сеньора Смотрителя. Никакой особенной роли в нашей жизни он не играет, если не считать незначительные неудобства и весьма экзотические развлечения, о которых чуть позже, хотя мог бы. Эта роль ни в коей мере не смыкалась бы с его профессиональным долгом, если только косвенно, весьма косвенно...

Редко у какой из яхт телескопические сходни, они же трапы, выдвигаются так далеко и опускаются так низко, чтобы придать пешему переходу на причал Умберто Первого необходимые простоту и безопасность. О возвращении на борт, да еще «под шафэ» и говорить страшно. В прошлом году я соседствовал с парой весьма пожилых французов, вдвоем путешествовавших на старенькой, но ухоженной собственной лодке, так мадам вообще за три дня ни разу не спустилась на берег. Отнюдь не потому, что не хотела. Очень хотела, но решила, что Портофино – не Париж, чтобы увидеть и умереть буквально, да еще на виду у всех и с такими неудобствами для отдыхающих, что и в другой жизни попробуют отыскать, особо мстительные. Ее благоверный оказался старичком более рискованным, к тому же я ему неосмотрительно подсобил – сперва подтянул его лодку поближе к причалу, затем буквально принял в объятия, когда он, безрассудный, сиганул без предупреждения сверху на негостеприимные камни. Спасибо, что легкий, худой, но не слишком костлявый. Повезло обоим, обошлось без травм.

Наверное, в его возрасте, если доживу, тоже начну пренебрегать подстраховкой, устраивать небесам легкие провокации. Интересно, фиги оттуда просматриваются? А в кармане? Если нет, – говорил себе, – то и напрягаться не буду: приобрету табуреточку сантиметров семьдесят высотой, чтобы ставить ее на край причала, напротив трапа. С такой смело можно шагать туда-сюда, лишь бы зрение не подвело и табуретку из под ног не выдернули. Каждый год вспоминал о табуретке, но почему-то зимой, к лету все забывалось.

Поздно вечером, пытаясь заснуть пораньше – на следующий день планировал выйти в море не позднее пяти утра – я проклял свое человеколюбие. Белое лигурийское «Верментино», обожаемое здешними отдыхающими, опасно сочетает божественный вкус и дьявольское коварство. Казалось бы, что за несколько тысячелетий люди уже должны были бы научиться распознавать такие «коктейли» и сторониться, избегать соприкосновений, но увы, так и не продвинулись дальше экспериментов. Наиболее настойчивой и последовательной оказалась церковь, я имею ввиду обеты безбрачия...

«Жарда-ан!» – ныл на причале как следует подгулявший старикан; кто-то сказал бы «не в меру».

«Жарда-ан!» – будил он свою не менее древнюю судьбу, не имея возможности добраться до лодки и до неё.

«Жарда-ан!» – прозвучало в девятый раз, и до меня через нервы и ожесточение наконец дошло, что Жардан ему все равно ничем не поможет. Я живо представил себе, как сухонькая старушка, искренне страдая от собственной беспомощности, начинает так же отчаянно звать его по имени. По-моему, он представился Мишелем.

«Шахсанем и Гариб» – думал я, пытаюсь вспомнить, чем именно закончилась та история... Увы классику советского кинематографа потеснили приключения веронской парочки, и я встал. Четыхаясь, влез в джинсы и майку и уже на двенадцатом безответном «Жарда-ан!» спрыгнул на причал. Дальше все шло, как по нотам: подтянул лодку ближе к камням; дождался, когда море вздохнет и край трапа окажется в мысленно рассчитанной точке; посадил на трап охнувшего и тонко заверещавшего страдальца по прикинутой траектории, помогая себе и ему коленом, нисколько не заботясь о внешних приличиях, важно, чтобы на джинсах ничего не осталось...

С нескольких лодок раздались аплодисменты.

«Европейцы. Любители наблюдать из засады. Лишь бы пересидеть...» На соседней яхте натянуто источает любезности, «расшаркивается» Мишель, добравшийся, наконец, до обители спящей поленом Жардан.

«Поприседай, дед, подыши глубоко – быстрее отпустит. Прости, не рассчитал».

«Жива ли твоя Жардан? – пришло мне в голову уже в полусне. – Да нет, наверняка всё в порядке с ней, иначе дед звучал бы куда как веселее...»

Утром, когда я покидал порт на два часа позже, чем планировал, Жаржан сидела, закутавшись в плед, на носу, что-то записывала в блокнот толстой шариковой ручкой с Мики-Маусом на колпачке, у меня таких три из Диснейлэнда, это сразу сближает. Увидев меня, помахала на прощанье и мне показалось, что перекрестила, двумя пальцами, бегло... Наверное показалось, но всё равно приятно.

«Может и сжалится над вами сегодня судьба, будет вам стул...» – послал я ей мысленно ответное благословение и улыбнулся, давно не чувствовал себя так хорошо.

Всё дело было в стуле, в обыкновенном пластмассовом «общепитовском» стуле, примечательном лишь тем, что разменял он бывшие белизну и блеск на замурзанную, зато яркую жизнь индивидуалиста у всех на виду. Он служил личным стулом Смотрителя портофинского общественного туалета сеньора Нино.

Днем, в рабочее время, восседавший на стуле Нино выглядел дворецким, пристроившимся передохнуть в тени, не на глазах, у входа в хозяйскую аранжерею – так далеко уводили от прозы общественного туалета невысокая каменная лучковая арка, кованая решетка, разноцветные радодендроны; может быть, вовсе и не радодендроны, я ничего не понимаю в цветах, но действительно разноцветные и очень яркие. Вечером, в девять, равно как и днем, на время покидая свой пост, он пристегивал стул велосипедным замком к кованной решетке.

Обычно Нино будто и не замечал окружающий его мир: сидел себе на стуле, спичка в зубах – серой наружу, иногда внутрь, тогда сплевывал. Спичка шевелится – значит не спит. Оживал Нино исключительно в трех случаях. Первый: если – ему звонили. Сам Нино, я обратил внимание, редко проявлял инициативу. Увы, он регулярно кому-то был нужен в восемь утра, буквально с момента отстегивания стула. Незаживающая травма любому отпускинику и смерть – отпускинику на лодке, заплатившему за сутки пользования несколькими квадратными метрами нечистой воды в два раза больше, чем в хорошем отеле за номер с видом на море и завтрак. Впрочем, мертвые оживали, а все неудобства и беспокойства тут же забывались, стоило только увидеть, как Нино отвечает на звонки. Многие после первого впечатления в после-

дующие дни сами заводили будильники на семь сорок пять, чтобы не пропустить уникальное представление.

Итальянец отчаянно жестикулировал, пуская в ход и ту руку, что удерживала телефон возле уха. Оставалось загадкой, каким образом диалог сохранял свою непрерывность. Он приседал, вскакивал, вставал на носки... (Этот колышавшийся центнер как на пуантах?! Да уже ради этого стоило пережить потрясение ранней пробудки!) На какие-то секунды Нино неожиданно замирал – трубка у уха – в самой замысловатой позе, и вновь, ужаленный, срывался в безумную хореографию. Был бы жив Игорь Моисеев, доведись ему посмотреть хоть отрывок из этого представления, в репертуаре ансамбля могли бы появиться танцы «Звонок другу», «Тариф «Домашний» или «Эсэмэска с работы»; наконец-то хоть что-нибудь новенькое.

Наблюдая эту картину впервые, я ненароком подумал, что парень слишком прямолинейно толкует слово «мобильный», имея ввиду телефон.

Горючее во внутреннем двигателе Нино заканчивалось одновременно с окончанием разговора. Он усаживался на стул и приступал к обязанностям: складывал руки на животе, вставлял спичку в рот, смеживал веки и не шевелился вплоть до шагов, безошибочно определяя, что они направляются в его сторону, на шаги просто гуляющих по пирсу Нино не реагировал; настоящий профи. Пытаясь определить природу этого феномена, я пришел к выводу, что у нуждающихся в посещении туалета происходят незначительные изменения в походке. Дар Нино – чувствовать эту разницу. Как аквариумные рыбки – землетрясение.

Вторым поводом для вхождения Нино в фазу активности были туристы, пытавшиеся отыскать площадку для мелочи, которым он терпеливо и, на мой взгляд, доходчиво объяснял, что туалет бесплатный, и его скромная роль вовсе не в сборе денег, а в том, чтобы следить за чистотой, порядком и регулировать скопление людей. А они все искали глазами площадку, переступая с ноги на ногу... Наверное, не понимали по итальянски, но слушали очень внимательно.

Чистотой внутри Нино выборочно интересовался на выходе:

«Ничего не забыли?»

Я не видел, чтобы кто-нибудь возвращался.

Возможные скопления сеньор Смотритель пресекал однообразно, но действительно: завидев приближающийся катер с туристами, крепил к решетке табличку «Перерыв». Ближайшие туалеты, таким образом, оказывались в кафе или ресторанах на площади, а там надо было заказывать хотя бы стакан воды или чашку кофе, из вежливости. Туристы в массе своей были недурно воспитаны и с удовольствием сочетали приятное с необходимым, в другом случае официанты ближайших кофешек наверняка утопили бы Нино прямо у места службы. Сам он в это время делал вид, что дремлет, привалившись спинкой все того же стула к стене, а возможно и вправду дремал.

Энергетиком номер три, и наверное, самым действенным, были незадачливые мореходы, по недоумию своему просившие одолжить Нино «на минуточку» стул, чтобы не пришлось прыгивать на берег с метровой, а случалось и большей высоты. Каждый из них буквально сразу, без дополнительных разъяснений начинал понимать, что значит в этой стране обрести кровника, не в шутку, не в кино, и опасались, что их, несчастных, эта кара уже постигла. Если бы у меня была способность защищать имущество также рьяно, я был бы самым успешным в мире адвокатом по бракоразводным делам. Не то, что сейчас. Чем этот стул был так дорог Нино, никто не знал, а спрашивать, выяснив *как* он ему дорог, благоразумно не спрашивали.

Был, правда, еще один случай, невероятно возбудивший Смотрителя портофинского туалета... Единичный, совершенно отдельный и, в силу своей форс-мажорности, возможно и не заслуживающий упоминания в ряду традиций, что правят атмосферой Портофино... Однако, начал уже.

Вобщем, однажды стул у Нино украли. Нет, его вероломно и нагло сперли. Думаю, сам Смотритель выбрал бы иное слово.

КОМПЛЕКСЫ ЗОРРО

На рассвете маленькой и острой ножовкой я быстро перепилил одну из пластмассовых секций спинки, через которую был продет велосипедный замок и, утащив добычу вверх по тропе, с глаз долой, минут за пятнадцать окончательно ликвидировал стул, превратив его в табурет. Вышел ассиметричный уродец, так ведь и я не Филипп Старк. Слой темно-синей эмали (серьезная, кто понимает, жертва – запас для мелких ремонтов корпуса), совсем осложнил возможное опознание, особенно по запаху. Без нужды не таясь, я принес новорожденный синий табурет на причал и предусмотрительно поставил его на нейтральном участке – между своей лодкой и лодкой старичков – французов: если вдруг Нино умрет от разрыва сердца, пусть лучше думают на меня.

Будучи циничным негодяем лишь отчасти – отпуск всё-таки, я пожертвовал собственным раскладным алюминиевым ветераном с полосатым тряпичным сиденьем, коротышкой, как сейчас помнящим секцию «Рыболов-спортсмен» в магазине «Динамо» на Горького. Отнес его к месту, где царствовал стул Нино и поставил возле растерянного, обвисшего от растрояства, небережного стула замка. Думал, если выйдет глумливо, заберу дорогую сердцу «складушку» назад – зачем еще больше обижать и без того пострадавшего? К сожалению, получилось очень даже ничего, игриво.

«Заметила ли Жардан мой подарок или помахала за возвращенного мужа?» – гадал я подняв вверх руку в победном мальчишеском жесте «Виктория!». На ваши два пальца – два наши. Решил, что подумала:

«Слава Богу, отправился, добрая душа, восвояси. Нынче будет старик на лодке сидеть, никуда не денется. Посмотрим».

Мимолетное воспоминание, теплое как июльский бриз, походя загоняет в черные дыры сознания весь мусор, накопившийся в душе за долгое утро. Я выглядываю на причал и... улыбнулся бы еще, но оказывается – уже улыбаюсь, шире некуда. У решетки стоит отслужившее в офисе выгоревшее креслице на колесиках. Удобное, с подлокотниками, регулировками высоты и наклона спинки, но в силу своей неустойчивости абсолютно непригодное для решения проблем гостей Портофино, прибывших сюда по воде. Тем не менее креслице педантично пристегнуто знакомым замком.

«Браво!»

Мне показалось, замок заметил меня и даже качнулся от ненависти. Чем недоволен? Его же не выкинули.

Кстати, синий табурет я нигде не приметил. Мне, собственно, до него дела нет, первый раз в этом году взял с собой небольшую складную стремянку – две ступеньки и площадка наверху. Имя ей дал: «Жарда-ан», так как написано фломастером, с графическим подвыванием, по-русски, в трех местах, чтобы злоумышленники задумались перед тем как красть.

«Ладно, хватит резину тянуть, пугливая интеллигенция. Еще и вломиться в чужую собственность не успел, а уже тюрьма в голове!»

Плохо. Слишком комплиментарно.

«Хватит резину тянуть, старая пугливая обезьяна!»

Другое дело.

В конце концов, ни одна добродетель не перевешивает искушения подглядыванием.

Я открываю файл.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ФАЙЛ

«Нынешний средиземноморский август ничем особенным не выделялся среди своих предшественников, такой же загустевший от запаха пляжных кремов, словно их подмешали во все подряд – воздух, воду, еду, курево, выпивку. Особенный европейский месяц обычных европейских отпусков. Месяц-дебил, месяц-ужас, месяц-эпидемия. Пагубная, неизлечимая болезнь, в которой, вопреки ожиданиям, выживают все или почти все, чтобы преодолеть с краткосрочными передышками очередные одиннадцать или сколько-то там месяцев трудотерапии и вновь сорваться в августовское безумие, освобождая душу от накопившейся тоски, тело – от умеренности, а семейные бюджеты – от всех форм накоплений разом.

Послеполуденный бриз был сильнее обычного и быстро разгонял короткую вздорную волну с белыми газированными заламами на гребешках – петушки-альбиносы. Стоило Марку слегка изменить курс в попытке хотя бы отчасти спрямить маршрут, как соленые брызги бросились на штурм верхней палубы «Старого брата», заставляя одинокого иккипера морщиться, поминутно протирать солнцезащитные очки и экраны навигационных приборов. Морское упрямство бесконечно, человеческого хватило минут на пятнадцать, Марк смирился, переложил штурвал и обреченно вернулся на первоначальную дугу, прикинув, что лишние полтора часа хода ничего не изменят, същется местечно для якорной стоянки, обязательно същется, «Нам много не надо». На всякий случай послушал по пластику, выкрашенному «под дерево» – традицию не уважил и суеверием не пренебрег, но думал, что всё как раз наоборот.

Юношей, переживая душевные травмы, обиды и глубочайшие – так непременно по первости кажется – разочарования, Марк думал о людях, как о комьях податливой глины в руках веселого гончара – слепит, раскрасит, осмотрит придирчиво – шлеп! – ив лепешку. Тех, что обнадеежили поначалу, то есть через обжиг пропустили – в пыль. Им еще хуже, стоило ради такого конца в печи томиться...

Теперь, после нескольких лет морского бродяжничества, наверняка знал: все так и есть, так все и устроено, с усовершенствованиями, понятное дело, тюннингом, говоря современно, но именно так и никак иначе. Фатализм, на удивление, скажем так – в хроническом варианте – прочных позиций в его характере завоевать не сумел. Пытался, но не преуспел, потоптался на пороге, никто не окликнул и он счел за благо не досаждать. Однако, на всякий случай остался за дверью, сволочь предусмотрительная. Время от времени просовывал в щель идеи...

К вечеру ветер растерял азарт. Как всегда, почти в одно и то же время. Так же быстро, как подросла все послеполуденные часы, угласла волна, скрылась на время в темнеющих глубинах, притворилась покладистой. Позабыла вроде бы по рассеяности капризную рябь на поверхности, не повсюду, местами – своеобразный звоночек, напоминание о возможном подвохе, каких у природы полны загашники. Специально накапливает сюрпризы для самоуверенных человечков, возомнивших себя венцом ее творения. Очень нужны ей такие венцы.

Якорь полетел в воду, едва успев поглубже вдохнуть и задержать воздух. Удалось. Бултыхнулся и сразу почувствовал себя легче. Цепь запричитала сварливо, хорошо недолго – метров двадцать вытравили, не больше. Залегла змеей, притаилась в песке, невдомек ей, что видна в прозрачной воде почти на всю длину...

Марк действовал привычно, по давно заведенному порядку: на корму – прикинуть дистанцию до ближайших лодок, прочетив мысленный круг от якоря, на нос – проверить хорошо ли натянулась цепь, закрепить ее, «на всякий пожарный», стальным карабином, и

назад, на мостик – заглушить движки, щелкнуть клавишей вентиляции моторного отсека, включить стояночные огни, генератор и пометить в бортовом журнале дату, время, уровень топлива, координаты и глубину. Уф... В последнюю очередь заглянул в моторный отсек – духота жуткая, но тревожных запахов нет. Вентиляторы не подвели, гудят как Боинг на взлете, им еще минут десять «лететь», а лучше пятнадцать.

«Теперь – пора счастья... часов на сто. А там – как пойдет.»

Небо, соперничавшее с морем в безмятежности и глубине было чистым, прозрачным и беременным миллиардами звездочек. Оно уже нежно любило их, еще не родившихся, безграничной небесной материнской любовью и терпеливо сносила последние капризы завистливого, ревнивого Солнца. Именно эта любовь проникает в души романтиков, вынуждая каждый закат замирать от восторга и счастья, наблюдать за рождением удивительных светлячков.

Настоящие романтики, кстати, не верят, что звезды в самом деле так далеко от Земли, как утверждают ученые. Людям, говорят, просто не нравится, когда кто-то пристально наблюдает за ними сблизи, вот они и придумали способ избавить себя от ненужных переживаний, будто шапкой-невидимкой накрылись. В отличие от ученых, романтики не на чем не настаивают, они даже не настаивают, чтобы их слушали. Живут себе тихо со своей правдой, радуются звездам и никому не мешают.

Наверное, Марк поддержал бы догадку о заговоре ученых, но в широком смысле: докторов всевозможных наук, академиков в стране почти как крестьян, а две трети населения ездит на «Жигулях». Но и ученых бы поддержал тоже, для равновесия, по крайней мере в частном вопросе относительно звезд: он давно считал, что мир перенаселен параноиками, только слезки со звезд еще не хватает...

Не причисляя себя к натурам чувствительным, он тоже любил это время, когда дню уже надоело дневать, а ночь всё не спешила и не спешила на вахту, потом быстро-быстро, как проспавшая секретарша: кофе, помада, туши, глаза, ключи, бегом, назад бегом, сумка, вперед бегом... – Чума! – она уже сортирует почту: «Чёрт! Калготки забыла!»

Прогнозы погоды день ото дня продолжали оставаться однообразно благоприятными, однако Марк привычно по несколько раз за ночь просыпался и лежал, не шевелясь, не открывая глаз, вслушивался в окружающий лодку мир, в себя. Если ничто не тревожило, засыпал на следующие полтора – два часа. «Старый брат» чуть покачивался, побрякивал якорной цепью, то давая ей послабление, то напрягая до едва заметного рывка, поигрывал от безделья, будто четки перебирал.

Как обычно, кто-то и соседей полуночничал, и «Старый брат» вдыхал открытыми иллюминаторами слегка приправленный морем табачный дух, едва заметно поворачивался на голоса и различимый перезвон бокалов – обожал праздники. Как и все корабли и кораблики, насильно, по воле своих капитанов погруженные в сон, он был вынужден притворяться неслышимым и невидимым. Якорная цепь не в счет, как и стояночный фонарь на клотике, хоть тот и яркий. Яркий-то яркий, но уж больно мелковат, «Старый брат» поддразнивал его «одиночным салютом», полагая, что таким образом иронизирует над собой, а это безусловный признак интеллигентности и воспитанности. У «англичанин» в родном порту научился – «Принцесс», «Сансикеров». Хорошо, что не замечал, как они манерно перешептываются между собой за его бортами, подтрунивая над «забавным итальянцем». Было над чем. Часто случалось, южная природа «Старого брата» вдруг проявлялась во всей своей разгильдяйской красе, он забывал откликнуться на повороты ключей, не реагировал на нажатия всяких кнопок. Бастовал, короче. Потом долго стыдился, пытался загладить вину, покорно сносил домагательства мастеров и упреки хозяина.

Ему тоже было в чем упрекнуть хозяина, но из соображений лояльности «Старый брат» не желал усердствовать, ограничив претензии одной-единственной – «Мало света!» «Старый брат», дай ему волю, превратил бы себя в море огней, обожал большие и сильные

лампы. «Одинокий салют» в такой конкуренции был обречен и надеялся, что мольбы «Старого брата» до хозяина не дойдут. Он перекрецивал провода и из-за этого часто перегорал. Чувствовал, что если так будет продолжаться, то нынешняя «гастроль» станет последней, но никак не мог определиться со своими страхами – чего больше бояться.

Прошлым летом, «Старый брат» позавидовал не на шутку раздухарившемуся соседу – тридцать футов, смотреть не на что, а иллюминации как на «Титанике»! Ну и шумнул во весь голос включенной в салоне рацией. Та, в свою очередь (исключительно по собственной инициативе!) спросоня привлекла репродуктор на мачте... Шум был такой, что даже якорь по самую пятку в песок зарылся. С той ночи хозяин дважды перед сном проверял положение тумблеров громкой связи и рации, а если погода намекала на предстоящую гульбу с шалостями, оставлял связь включенной на минимальную громкость. Правда, и спать в этом случае устраивался, не раздеваясь, на жестком диване в двух шагах от поста управления. «Можно подумать, понадобится – не разбужу...» – дулся на хозяина «Старый брат».

Сегодняшний вечер вышел «Старому брату» как по заказу: по правому борту гуляли итальянцы, напоминая о верфи-колыбели и счастливых месяцах младенчества, до первой воды. Глубоко за полночь, когда роса вычертила на его запотевших бортах извилины ностальгического умиления, земляки выдохлись.

«Вот в былые времена...», – вздохнул было «Старый брат»... и тут же, неосязаемая волна прибила к корме голос далекого саксофона. Сама темнота его выдохнула несмело, и все-таки различимо. Заплутав в бухтах выложенных на просушку канатов, медленная мелодия сворачивалась в невидимые спирали, задремывала, убаюканная, пробуждалась, долго и томно потягивалась на мокрых досках и растеклась по палубе маслянистой и вязкой прощальной нотой.

Полный штиль...

Замерев от восторга, «Старый брат» представил себе музыканта. «Обязательно загорелый и длинноволосый, как хозяин, в таких же драных джинсах и майке со сведенным частой стиркой рисунком... Сидит, скрестив босые ноги, на носу старого парусника, инструмент на коленях, слегка раскачивается в такт морю и ушедшей мелодии – в нем она застывает последней. И он поощряет усталое горло теплом сладкого дыма...»

Маленькая красная точка рождалась из ничего вдалеке от кормы, набухала, словно приближалась, меркла, совсем исчезала и появлялась вновь, таинственный семафор судьбы. Офигеть...

«действительно – «офигеть!»... Выдумывать от лица лодки?! Полная клиника. И зачем, спрашивается, в каждом порту покупать себе новые майки, если подсознательно мечтаешь щеголять в старье... А вот с сигаретой – ничего получилось, симпатично... Прямо концовочка для женского романа. добротные сопли.»

Сам Марк давно уже не курил, с восьмого класса, когда понял, что табачок не заметит ни широкие плечи, ни накаченную грудь. Именно таких парней в первую очередь выбирали девчонки на школьных танцульках, когда чокнутая на феминизме и личной неустроенности директрисса через раз объявляла «белый» танец. Короче, Марк с курением завязал и подался в спортсмены. Вымахал за год на двенадцать сантиметров, в результате чего съехал со второй парты на последнюю, что, вопреки традиции заднескамеечников, не сказалось на успеваемости.

Школьные предметы давались ему легко. «Он, конечно, не гений и учится недостаточно, но я бы сказала – изящно», – делилась с родителями классная руководительница Марка Нонна Павловна, и было неясно, чего больше в ее словах – одобрения или скорби о недостатке усердия, но так уж непросто она изъяснялась.

«Божий одуван». Ей нравилось напоминать, что если бы не астма, полученная в блокадном Ленинграде, она несомненно бы стала солисткой балета в Мариинском, а может быть

и в Большом. «Вместо этого, – говорила она, – жизнь вынудила меня позволять всяким недорослям докучать мне дурно выполненными домашними работами, потворствовать неучам и лентяям, поскольку в стране введено обязательное среднее образование. Чудовищно неравноценный размен.» Иногда Нонна прикрывала яркие, совсем не пожилые голубые глаза, и на лице ее, вне зависимости от того, что в данный момент происходило в классе, появлялась блуждающая мечтательная улыбка. Марк представлял себе, как кружится она на мысочках в свете прожекторов, а в проходах к сцене уже толкаются поклонники с огромными букетами. Среди них он всегда различал отца.

Когда отец Марка приходил в школу, Нонна никогда не беседовала с ним ни в учительской, ни тем более в коридоре, как обычно с мамой или другими родителями. Нонна Павловна брала отца под руку и они выходили на аллею перед парадным входом в школу, и ходили туда-обратно без спешки, разговаривали о чем-то, часто смеялись. Им даже дождь не мог помешать. Впрочем, на этот случай у одного из них всегда находился зонт.

Высокий стройный отец, с выправкой кадрового офицера, и маленькая худенькая седая женщина с пронзительно синими глазами и розовыми, словно всегда с морозца, щечками – улыбочивая и, несмотря на годы, даже немного озорная... Поскольку Марк давно уже, класса с шестого, при всем желании не мог найти в однообразном учебном процессе ничего смешного, то догадывался, что разговаривают Нонна Павловна с отцом не о школе.

Как-то мама сказала Марку, что Нонна очень похожа на его бабушку, пропавшую без вести где-то по дороге в эвакуацию в первый же год войны. «Нонна знает об этом, папа ей рассказал.» Необычные отношения отца и классной руководительницы вдруг стали понятными и совершенно естественными, а еще он понял, что все это время безотчетно ревновал.

Нонна Павловна научила Марка, что большинство существующих в мире книг, к сожалению, всего лишь тренажеры для чтения. «Чтобы буквы не забывались». Она говорила «тренажеры», хотя «пионер» у нее получался совершенно нормально, пристойно. У любого, даже самого завзятого книголюба, – говорили она, – библиотека, как минимум, на две трети состоит из текстов, которые не помогают ему понять эту жизнь, но могут помочь тебе, потому что каждый человек читает по-своему.

– Это поэтому воровство книг не считается грехом? – поинтересовался однажды Марк. Этот вопрос не был праздным, сосед стащил у него второй том Марка Твена и объявил «сворованной собственностью». Прятал, гад, если Марк заглядывал к нему домой.

– Если только вернуть книгу после прочтения – уточнила Нонна Павловна.

– А если она так растрепалась, что возвращать уже неудобно? – перевел Марк диалог в практическую плоскость, у него тоже был свой должок и о нем в школьной библиотеке помнили...

– Тогда нужно как минимум десяти людям рассказать о том, что в ней написано.

Марк понял, что так или иначе придется приводить библиотечную книгу в порядок.

Через несколько лет, когда один из приятелей Марка, коллега- журналист, попадет на плагиате, Марк подумает, что если жить по заветам Нонны, то незадачливый интеллектуальный ворюшка чист, как слеза младенца: слова, что спер, давно истрепались до неотребства и он добросовестно пересказал их не десятку – сотням тысяч людей, если не миллионам, учитывая, что агентство, в котором в то время работал Марк, рассылало статьи своих журналистов по всему свету. История, кстати, вышла в итоге забавная...

Уличенный в плагиате несчастный рухнул в ноги своему тестю, и по совету человека бывалого, опытного, пережившего ни одну бюрократическую бурю – тридцать лет в большой журналистике – залег в палату для нерядовых инфарктников с таким диагнозом, что ветераны отечественной медицины недовольно, но понимающе поджимали губы – розовощечные «живые трупы» были у них не в чести, недолюбливали они их. Там же, в палате, больной

накатал в партком заявление об утрате партбилета: был, мол, при себе, когда стало плохо, позже – пропал без следа.

«...Точно помню, чувствовал возле сердца, и все равно еще раз проверил.

Потом мне стало плохо. Пришел в себя на скамейке в сквере – люди вокруг, кто-то вызывает Скорую помощь, и опять впал в забытие...»

Тесть сам диктовал и проверил текст. Орфографические ошибки исправлять не стал: «Сейчас главное, чтобы о плагиате забыли».

Заявление он увез с собой.

Великое дело – опыт. Факт воровства чужих строк измельчал до плевка и был беспощадно размазан тяжестью навалившейся новой беды, даже выбросить оказалось нечего – вытерли локтем пятно на столе и всё. С этого места и проросла «утрата личного партийного документа», привычно приравниваемая партийными органами к осквернению памятника мертвому вождю или совращению живого пионера, и поднялась в рост Золотого Колоса – знаменитого фонтана на ВДНХ.

–...Жаль, что недолго пожил, – давил плагиатор слезу из секретаря редакционной партийной ячейки, переправившего «больному» полпуда положенных профсоюзами цитрусовых и тревожную весть. Всего неделю эскулапы заботились о пациенте, но цвет его уже лица не вызывал опасений, что афера раскроется. Вызывал, но другие...

– Не жалей, – искренне успокаивал тот и при этом глаза его оставались сухими.

В последний момент, буквально за день до судьбоносного собрания, которое решили таки проводить не дожидаясь выздоровления виновного – «Чего тянуть, если виновен? Опять же везти куда не придется, он уже в кардиологии!» – дома у горемыки обнаружился партбилет. Жена в партком привезла. Рассказывала, не стесняясь слез, как забрала книжицу в больнице из мужнина пиджака, из внутреннего кармана, с левой стороны – не рассматривала, не до того было. «да и в обложке... Бережет... Сложила в пакет с другими его вещами, домой отнесла. дальше не помню, врачи в этот день сказали, что...» Умная женщина, врать про здоровье не стала – примета плохая. Слезой закрылась, но все поняли недосказанное: «Ну и то хорошо, что выжил, а жена – беспартийная, что с нее взять...»

Собрание провели, «строгача с занесением» замнили на «поставить на вид». Наверное за то, что проявил политическую недалковидность при выборе жены, несознательную взял.

«Зато с тестем не прогадал», – радовался наказанный, резко двинувший на поправку, и уже через неделю вновь оказавшийся в кругу семьи.

В тот вечер в семье пили все, узким семейным кругом. даже сноб тесть, нелюбивший зятя, заехал с бутылкой виски, которую сам и усидел, не предавая другим, даже дочери было отказано: «Вышла замуж за дурака, так и пей его пойло дурацкое». Виновник же отмечал возвращение почти непорочным в профессию щедро, с размахом, даже кошке плеснул в миску пива грамм двести. Кошка, кстати, была у них странная, необычная рыжая и с приплюснутыми ушами, будто в шапке-ушанке спала по ночам, от таких всего можно ожидать – к пойлу не притронулась. Зато сам хозяин дома, проснувшись раньше всех от изматывающей головной боли и жажды, вспомнил о кошачьей дозе и, славословя в адрес четвероногого абстинента, сам вылакал ее всю, до доньшика. Миска была неглубокой, пиво в край, рукам бедняга не доверял, пришлось для верности опуститься на четвереньки.

С того дня по редакции ходила легенда о пьющей кошке. С постоянством нутра морозильной камеры она обрастала подробностями: то текилу без соли не приемлет, то коньяк без дольки лимона. А уж если в присутствии гостей кошке случалось хоть раз мяукнуть, хозяин картинно негодовал: «Вот же зараза бездонная, опять ей выпить... Не напосеешь. Кыш, прорва!»

Кошку эта игра раздражала, но она себя успокаивала: «Что поделаешь, все так живем, непросто».

Спустя год за терпение и понимание правил жизни, кошку, а с ней и хозяев, отметили правом пожить за границей. Радовалась кошка долгие четыре года сытным европейским харчам и ухоженным воздыхателям с наманикюренными когтями; чертовы провокаторы. Заметив однажды, с какой быстротой в доме громоздятся коробки, а от нервов искрят выключатели и отстают обои, ушла прогуляться, и большие кошку нико не видел. Хозяин предусмотрительно насыпал небольшой холмик во дворе виллы, которую до невозможности хотелось забрать с собой, как «неповторимое жилищное воспоминание», и всем говорил, что надорвалось маленькое сердечко – так торопилось на родину. Плакал, сказывали. Еще одного толкового тестя кому-то жизнь воспитала. И тестя, и свекра.

...«Тренажеры для чтения, симуляторы..., – закутавшись поплотнее в банный халат, Марк поднялся на верхнюю палубу. Откуда саксофон, зазвучи он снова, был бы слышен намного лучше. – Симуляторы – это даже круче: буквы сложенные в слова симулируют мысли, я в свою очередь симулирую, что их понимаю... Хорошо бы специальную премию для таких книг учредить – «Букер – Симулятор», сокращенно – «Букер С.». «БУКЕРЭС».

Если не выйдет, можно продюсированием заняться, группу собрать, назвать «БУКЕРЭС», переставив акцент, и косить под испанцев... Но все-таки лучше премия:... утренний коеф, а по телевидению в это самое время объявляют: «Престижную литературную премию «Букер С.» получил известный московский писатель Кокер С.». И только ты один понимаешь, что Кокер С. – это кокер-спаниель...»

Какое-то время он рассеяно смотрел на далекий, прилежно освещенный контур набережной Круазетт, потом от нечего делать принялся разглядывать силуэты соседних лодок. Темные, с отблесками, очки иллюминаторов надежно маскировали скрытую за ними жизнь – круглые, овальные, холодные, пустые... Марк подумал, что, вопреки расхожим представлениям о человеческой натуре, ему совсем не хочется проникать ни во что чужое. Со своим бы разобраться. И тут же решил, что к этому, чего уж там, тянет еще меньше...

«Это должно тревожить, – сказал он зачем-то вслух менторским тоном, правда не очень громко, облизнул нижнюю губу, пробуя на вкус возникающую из ниоткуда тяжелую солоноватую влажност, напоминающую по вкусу клей с тыльной части почтовых марок. – Надо бы тете Нюре письмецо накатать, марку красивую на конверт, чтобы в деревне все от зависти поумирали... Если сама жива еще... Скотина я неблагодарная. Позорище. Надо прямо сейчас сесть и написать! На чем? Чем? Ладно, пусть завтра... Завтра первым же делом...»

Этим и успокоился, остыл.

У старой самогонщицы Нюры Марк вместе с мамой провел лето первой жатвы своих представлений о взрослой жизни: голые девки в парной, «Шипка» без фильтра и, понятное дело – фирменная хозяйкина продукция, без нее было никак не обойтись. Если с табаком и настойками – с чем только не экспериментировала Нюра в охоте на вкус и цвет – все было просто: пара затяжек, пара глотков, прокашлялся, проблевался, и спать, то стремные субботние бдения у дырки в дощатой пристройке к бане, для дров, наоборот – напрочь лишали сна.

Мать, пару раз застукав отпрыска не самым вменяемым и с запашком, сильно нервничала, грозилась тут же увезти его к отцу в город, но Нюра всякий раз успокаивала, заговаривала, рассказывая каким хорошим ее мужик был, как вся деревня любила и почитала его, пока жил, хоть и не просыхал сутками. А когда и настоячкой на чем-нибудь заковыристом уговаривала гостью побаловаться, после чего мама Марка слушала бесконечные деревенские байки, подперев щеку кулачком и рассеяно улыбалась. Марк видел ее с лежанки немного расфокусированно и думал, что и голая в бане она все равно среди всех самая красивая.

Студентом он наезжал к тете Нюре с друзьями, как к родне, называл ласково Нюра-родничок... Летом – с удочками, в зиму – с лыжами. И те и другие как правило оставались нераспакованными, тетя Нюра не скупилась на угощение, с порога потчевать начинала.

На этой ностальгической ноте Марк через люк в верхней палубе спустился в салон, чтобы вернуться с початой бутылкой коллекционного «деламана», всегда готового поддерживать морехода в его ночных бдениях, только наметки.

«деламан», пожилой копыак, брюзга, недовольно пережил бурное переливание. Ощувив приятное прикосновение к дорогому мозреровскому стеклу, оценил простор и относительную свободу, но уgomонился не сразу. Потянул в себя солоноватый воздух, соображая, прикидывая, как глубоко этот простоватый вкус, примитивная острота, терпкость оскорбляют его достоинство?

«Или терпкость – это опять от пробки?»

К пробке он всегда придирался.

«деламан» снова заволновался в толстом стекле, но, почувствовал, как снизу, от чаши ладони, приливает уютное раскрепощающее тепло, выдохнул облегченно сомнения, переживания, тревоги и услышал одобрителное бурчание: «дивный характер...»

У «деламана» были вопросы к собственному характеру: на жаре он быстро впадал в депрессию, в холод становился вздорным, все остальное время просто плескался в капризах. В жизни, однако, никому в этом не признавался. Никто бы и не поверил в такую самокритичность, заподозрили бы маразм.

«Чудные они все-таки, люди. Взять хотя бы хозяина...»

додумать мысль он не успел, она так и осталась загадкой. Подсказка почти неразличимой последней капелькой, янтарной слезинкой скатилась по внутренней стенке на дно и через некоторое время исчезла, испарилась ненужная, никем не подхваченная.

Марк в задумчивости держал на ладони опустевший бокал, пропустив между пальцами ножку, короткую и мощную.

«Такие, наверное, у монгольских пони, если есть такие, в Монголии, наверное, есть. А на вкус коньяк странноват... Терпковат, а не должен быть... Ну да ладно, сплшем на море, оно всё меняет... На что? На всё. Всё на всё.»

Он представил себе привычную советскому человеку карликовую арку кассового окошка, расположенную на такой высоте, чтобы даже самый невысокий клиент обязательно горбился, а выпрямившись – не демонстрировал навязчиво операционистке собственную промежуточность... Такая выверенность и точность никак не могли возникнуть стихийно, без специального ГОСТа, многосильных диссертаций, групп испытателей- добровольцев – от недомерков до баскетболистов, получавших за роль лабораторных мышей бесплатные талоны в столовку засекреченного НИИ. стакан «Кагора» и день отгула, к их глубокому сожалению, полагались только за сдачу крови... Знакомый Марка сдавал кровь два раза в месяц, напивался своим и чужим «Кагором», и хвастал подпитием: «Малой кровью», – говорил.

...Над окошком – табличка «Обменный пункт моря», золотые буквы на черном зеркальном фоне. Сбоку – объявление, написанное фломастером от руки: «Сегодняшний курс: 2 дня спокойного теплого моря – за все ваши отпускные. Ветеранам войны и труда – скидки на лежаки, зонты и шлёпки.» По нижнему полю дописано мелко, красным карандашом: «Остались размеры шлёпок – 35, 39,5, 42, 44». Над «42» – особая пометка – «одна пара, но обе левые»; карандаш уже простой, черный.

«Совершенно нормальный коньяк, зря грешил.»

В действительности Марк знал и верил, что море и впрямь способно многое изменить: и вкус коньяка, и судьбу, да и все прочее, что находится между ними. Что-то к лучшему, что-то – наоборот. По большей части, все-таки к лучшему, думать так было приятнее. даже портовые пропойцы, околачивающиеся возле доверчивых путешественников, сибибающие дармовую рюмочку байками о пиратских корнях, пережитых тайфунах и стерве жене – блуднице, ни в какое сравнение для него не шли с обычной опустившейся городской пьянью, были намного выше. И то сказать, выпивку свою они щедро отрабатывали – никаких там соплей по поводу

некормленных малолетних детей, матерей-старушек, разбитых параличом. Марк портовых чудаков не чурался, наливал щедро, с одинаковым удовольствием внимал и правдоподобному вранью и реальным историям, хоть последние большие первых походили на отчаянный вымысел; не мешал. Случалось и самому какой случай из жизни вставить, своей собственной или чужой – неважно. По части выпивки он также старался соответствовать, понимал это как уважение к собеседнику, есть у русских такая традиция. Чаще получалось, иногда – нет.

Последним из таких памятных приключений был прошлогодний заход в Геную и вечерок, затянувшийся до утра на древнем буксире «Тортуга», спасенном от газового резака парой аборигенов, перестроивших списанный ржавый металллом в стильный ресторан на плаву, правда лишь у причала.

«Лучше бы его переплавили», – не оценил Марк предприимчивость генуэзцев на утро.

За несколько часов до печального, увы, небезосновательного суждения, он именно на борту «Тортуги» сошелся с «морским волчарой», который, доведись ему вместо спиртного употреблять в таких же объемах обычную воду, осушил бы как минимум треть мирового запаса, и в бездонную чашу Байкала можно было бы наконец-то переделать под нефтехранилище.

«Малоценка! Запомни, друг, для моря мы все – малоценка!» – таким неожиданным откровением он прервал свой рассказ о том как спасал во время цунами в Таиланде три судна, одно за другим. С людьми и... с подробностями. Интерес к спасенным затухал, подробности почти полностью себя исчерпали, хотя образ якоря, «звезданувшего по виску» Марка впечатлил, как и предъявленный ирам, уходящий под ярко-рыжью шевелюру.

«Кто понимает, тот выживет. Кто нет – нет. Ты, я вижу понимаешь... Чуть загордишься – кранты, приберет моречко. Чуть только подумаешь – «Какой я, твою мать, умелый и опытный... Такие вот мы – настоящие моряки...» – стучи по дереву, сплевывай, крестись, не мешкай. И на чеку будь, не факт что простят, часа полтора на чеку, а то и все два...»

для наглядности он сам произвел все три действия одно за другим в предложенной последовательности, а когда осенял себя непривычным для Марка крестом, тот подумал, что эксперт по цунами, знаток морей и суеверий чертовски уподобится коту, если ушей ему на макушку добавить...

Утром, когда Марка препроводили из полицейского обезьянника в кабинет говорившего по-английски карабинера, он как ни старался, подробно вчерашнего собутыльника описать не смог – рыжий и рыжий. Жаль: глядишь, кредитные карты удалось бы вернуть – Бог с ней, с наличностью, – мобильник опять же, портмоне от «дюпона»... Про «кошачье» лицо не упоминал, у выслушивавшего его офицера было такое же, только масть траурная и с сединой. Судя по кислому настроению, офицер от себя не был в восторге, дразнить его вряд ли стоило. Впрочем, Марк его тоже не радовал.

Вобщем, в глазах Генуэзской полиции Марк выглядел во всех смыслах бледно. Ничего необычного для стражей порядка в портовом городе, где нет и не было никогда сухого закона. Правда, русский неожиданно оказался подкован по части истории города, что-то мямлил про Генуэзскую конференцию, Ленина... Имя «Ленин» карабинер знал, а о конференции ничего не слышал, но чутье подсказало ему, что русский не врет и он поощрительно покивал в ответ. даже потянулся предложить сигарету, но в последний момент передумал: рано ему курить, только хуже станет, а уборщица на работу не вышла, больной сказала – пепельница до краев, пыль на лампе, а вот пол кто-то вымыл, кто бы это?

Про конференцию Марк заговорил от нечего делать, вернее, от невозможности делать что-либо еще, кроме как говорить. Это неведомое карабинеру историческое событие было единственным хлипким мостком, связавшим для Марка прошлое, неважно какое, с его личным конкретным нерадостным настоящим. Объяснить подробнее этот феномен, вообще хоть как-то его объяснить он не мог. К сожалению, в первой же трети навязчивого повествова-

ния в замутненном сознании вдруг всплыло недоброе подозрение, что Ленин на Генуэзскую конференцию так и не приехал... А как без Ленина? Он загрузил и вскоре подписал заявление о краже, без уговоров и уточнений скрепил подписью протокол задержания, посыпал, будто голову пеплом, квитанцию об уплате штрафа диковинным образом задержавшимися в кармане купюрами. Одну ему вернули назад, самую незначительную. Штраф полагался за «попытку осквернения памятника культуры, находящегося под охраной ЮНЕСКО». Какой именно памятник – не уточнялось, в конце концов весь город Генуя пользуется покровительством ЮНЕСКО; недотрога чертов.

«Угораздило же на памятник насрать, – еще раз устыдился самого себя Марк. – С другой стороны, неплохое, похоже, место, если у них это за «попытку» считается. С нашими ментами – полицейскими, полиментами... – такого бы послабления точно не вышло, с нашими – только задумал, уже плати... И полицейские клёвые в этом городе, куда Ленин не ездил. Потому, наверное, и клёвые. А ЮНЕСКО? Его поставили памятники охранять, а оно кому не попадя осквернять их позволяет... Им бы только бабки стричь... Полиция в Генуе клёвая, а ЮНЕСКО такое же, как наши менты полицейские...».

Через четверть часа, потребовавшихся для оприходования средств в городскую или какую другую казну, Марк был отпущен на все четыре стороны, хотя способен был различить только одну. В нее и направился, не выбирая.

На «Тортуге» Марка признали, посочувствовали и поспособствовали возвращению в мир. Облаготельствовали. Всё даром. Про товарища своего вчерашнего он не выспрашивал, понимал, что глупо, бессмысленно. Впрочем, через некоторое время ему стало намного легче, а когда Марк вернулся на лодку, то нашел на столе в кокпите завернутыми в салфетку из пиццерии кредитные карты, вытащенную из телефона «симку» и квитанцию из местной прачечной. Лодку не вскрыли, заначка была на месте, «деламан» тоже.

«Приличный все-таки мы народ – моряки», – подумал он с гордостью, тут же одернул себя, трижды сплюнул и перекрестился. По дереву стучать не стал, решил, что будет в голову отдавать, это было бы лишним. Не хотелось смазать эффект от неожиданного обнаружения в человечестве давно и неуклонно вымирающих качеств. «Фантомная память в действии. дай ей Бог...», – подумал он, складнее не вышло.

Марк набросил на голову махровый капюшон, потуже запахнул халат – тревожные мысли, в отличие от другой какой заразы, в тепле размножаются медленно и неуверенно – привалился, без затей, к радарной мачте, увенчаной неопределившимся с собственным будущим «одиноким салютом», не сомневаясь, что проснется с болями в затылке, затекишей спиной и ногами, ужас как неприятно...

«Кровь в ноги торкнется, будто наждачкой изнутри. Надо пойти вниз и выспаться по-человечески, кому нужны такие мучения...»

Он заснул где сидел с мыслью о том, что всё так и будет, как предсказывал про «наждачку», и сон еще некоторое время сберегал на его лице остатки улыбки.

Часа через три, когда рассвет смешал из воды и неба сине – малиновый невесомый коктейль и макнул в него весь мир, без остатка, на пару минут, не больше – Марк поборол бунтующие инстинкты кружкой крепкого кофе без сахара, облепив горечь черным шоколадом и, вопреки вчерашним планам «поваляться» на якорь день-другой, запустил двигатели. «Старый брат» вычихнул в сторону ближайших соседей искреннее недоумение неурочной пробудкой, фыркнул заодно на хозяина и не без злорадства, имея ввиду все тех же мирно покачивающихся в дремоте собратьев, затараторил звенящими выбираемой якорной цепи. Через некоторое время спокойного хода в полумиле от берега, наслаждающегося последними воспоминаниями об утренней безмятежности, Франция осталась в кильватере. Из радио на шестнадцатом, открытом для всех, канале в эфир неслись приглушенные голоса: «Колян, ебёнать! Это, я – Ермак. Я уже в порт, на хуй, захожу. Ты девок попридержи для меня пару, лучшие

трех, на выбор... Мне, блядь, только привязаться, на хуй. Вообще дай полчаса...» Также невольно выслушав неприятный ответ, Марк задался вопросом: а как звучала бы переключка между стругами настоящего Ермака, сына Тимофеева, будь на них нынешние средства связи? «Позакорырестее, наверное, с выдумкой, особо про девок». И еще о «высоком» подумал, о том, что страна наша бесконечная «до нельзя», и что на самом деле народу нашего куда больше, чем китайцев, индусов вместе взятых. Они рядом с нами наподобие каряков – малочисленные. Просто во время российских переписей ищут нас нерадиво, не там, и считают с пропусками – не так... «Может, оно и правильно... Нечего лишний раз мир пугать, без того все в ужасе как в дерьме – по уши.»

* * *

«Прямо в тему», – заключил я, дочитав до «звездочек». Дальше начиналась, похоже, другая глава, хотя никакой иной разметкой, кроме как «звездочками», автор не воспользовался. «Может быть черновик?»

Назвал же файл «набросками», или так и задумал... Ему видней. Хозяин – барин.»

Завуалированное напоминание об этической сомнительности происходящего странным образом не достигло цели, вообще никакой. Как красивая новогодняя открытка, недошедшая до адресата, потому что стибрил ее почтовый работник ради картинки.

ЧУДНОЙ КНИГОЧЕЙ

Я непросто читаю книжки. Кто-то скажет – смешно, другой может подумать, что интересничаю, дурачусь... Часто отвлекаюсь на фотографию автора на обложке, если она там есть. При этом всякий раз замечаю, как меняется выражение его или ее лица в зависимости от только что прочитанных страниц. То хитринку, притаившуюся в глазах, усмотрю, то искорки озорные, хулиганские. В другой раз взглядишься – скорбь беспросветная, а тут – мизантроп, циник... Такая выходит игра. Такое же, надо сказать, удовольствие для меня, как и само чтение, иногда и большее. Видимо, совсем не то читаю. Это и понятно – подсел на труды незнакомых авторов с их портретиками на задней обложке... Читаю, сравниваю... Часто случаются несовпадения, не похож автор на свое творчество, и всё тут. Такие книжки я не дочитываю, даю им фору страниц в двадцать и если ощущение, что написано кем-то другим, не развеивается – кладу в сторону, навсегда. «В сторону» – эвфимизим, это о подоконнике в подъезде. Новерное, у кого-то из моих соседей русская прислуга, книжки исчезают с подоконника в течение дня.

Глупо, наверное... слушать «Петю и Волка», сверяя такты с портретом Прокофьева. Тоже, не исключаю, могут вопросы возникнуть. Блажь, одним словом. Сам знаю, как и то, что все это ненадолго, и вскоре русская прислуга обитателей моего лондонского прибежища начнет потихоньку забывать родной язык; в следующем поколении они станут представляться Айванами и Мэри; это из за меня.

После отпуска схожу к психоаналитику. Он с кислой физиономией предложит: «Расскажите подробнее», и я, подспудно стремясь казаться умнее, изложу ему всю эту галиматью. «Очень интересно», – поощрит он меня, думая про себя излюбленное «Ну-ну». Мне дорого его внимание к моим причудам. Он знает об этом, но никак не может отважиться и предложить скидку.

Я пытаюсь выдумать для себя автора «Набросков». Мне льстит, но не нравится, что он так похож на меня.

БЕЗНАДЁГА

Самое время взять паузу, прошло больше семи минут, намного больше. Организм уже ни на что не надеется, кряхтит, постанывает еле слышно.

Я выглядываю в окно. Возле заправки в лодке вполоборота ко мне сидит средних лет длинноволосый мужчина. Даже издали было видно, насколько он атлетичен и наверняка физически очень силен. О такой фигуре я перестал мечтать лет пятнадцать назад, а начал... Страшно подумать, как долго живу.

Мужчина курит и стряхивает пепел в сторону бензоколонки, находящейся в метре – полутора от лодки, не дальше. Легкие порывы ветра срывают с его сигареты едва заметные искорки – я скорее чувствую их чем вижу – и сносят прямо на пропитанные соляркой, черные лоснящиеся тела шлангов, они громоздятся неаккуратными кольцами рядом с заправочным автоматом. Кто-то из остряков предлагал прогнать через шланги раствор «Виагры» и посмотреть – что будет...

Саму заправку по виду и состоянию я смело могу отнести к эпохе Марии Медичи, она обожала Портофино. На мой вкус, весьма интригующе будет звучать в ходе экскурсии: «Париж обязан своей королеве Люксембургским дворцом, а Портофино – бензоколонкой».

Удивительно, но заправка работает. Не помню, чтобы при мне ее хоть раз закрывали из за технических неполадок. Только, если кончалось топливо.

За шлангами именинником торчит свежесмытый мотороллер, на его сиденье, бездумно устремив пальцы в небо, лежит натуральная человеческая нога. Она не бликует пластмассой и выглядит вполне естественно, что делает всю картину шокирующей и дикой. Я помню: Джи Джи специально натягивает на протез чулок, чтобы избежать контраста с его загорелым телом.

Больше на заправке ни души. Похоже, умаялись все за ночь.

Ни на кого, право слово, нельзя положиться. Джи-Джи в задуманном мне не помощник.

НЕМНОГО О РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ

Чертовы «конверсы», завязывай их теперь... Нужно же было выбросить такие удобные, такие отличные, мягкие, разношенные, родные, привычные «мокасы». Подумаешь – одна дырка... У меня дома есть любимый свитер, в нем две дыры сверх положенных четырех, обусловленных конструкцией. Одна на правом боку, высоко, на самом деле почти незаметно, если руками не размахивать. С этим у меня все в порядке – правое плечо дважды вывихнуто. Вторая – на поясе, возле самой резинки, сзади, будто выгрыз кто-то из мелких хищников, может быть и вправду выгрыз... Тоже нельзя сказать, что совсем на виду. Главное правило обращения с дырками – пальцем дальше не ковырять... О чем я? Ах да... А тут, целую пару мокасин ликвидировал всего лишь за нецелый сантиметр разошедшегося шва. Абсолютно невзвешенное решение. Мой последний тесть – неподдельный голландец – проклял бы меня за такую расточительность. Сам он и жил и умер по всем правилам умеренности и экономии – настоящий, истинный кальвинист! – в квартире своей младшей сестры – доктора скорой помощи, в трех минутах от ближайшего морга и в получасе от семейной гробницы, если пешком. Я вот все думаю: знал ли он, что его младшая сестра лесбиянка? И её соседка тоже? Классно, кстати, устроились, не надо тратить на такси... Если да, то был ли в курсе, каким образом я об этом узнал?

ЛЕВЫЕ НОГИ

У дверей бара я через пять минут, включая время на обмен впечатлениями о штормовой ночи с Джи Джи. Мне рассказывать не о чем, а Джи-Джи редко болтает; для итальянца.

– Нормально? – спрашивает он.

– Угу, – произношу я в ответ и вопросительно смотрю на ногу на мотороллере.

– Новенькая, из запасных, неопытная еще. Пристоил, чтобы хозяина видела, а то отправится с дуру на поиски. С нее станется – левая.

Я заметил, что на здоровой ноге Джи Джи совсем другая обувка, но спрашивать уже не было сил.

– Удачи, – закрыл Джи Джи дискуссию. – Я бы сбегал, ты знаешь, но не бегун.

Счастье, когда тебя понимают, иначе не светят тебе понедельники...

В бар заныриваю одновременно с хозяином. Хочется думать о себе: «Как знал, что задержится», но не ко времени мысль – спотыкаюсь, чудом подхватываю компьютер в паре сантиметров от каменной ступени. Шел бы за хлебом – лежал бы уже разбитым лицом на расплюсценном ноут-буке. Цель важна.

«Надо бы тоже подучить ноги... Ведут себя как чужие, обе левые...»

Роберто еще и решетки, на ночь опущенные, до конца поднять не успевает, а я уже за стойкой соскучился, как и не уходил, с вечера тут сижу. Долго скучать не приходится, во всех барах люди с пониманием, место обязывает. Жизнь, по-своему, начинает налаживаться. Или по-моему, как тянет надеяться.

Я пристраиваю на стойку свой ноут-бук и возвращаюсь к прерванному занятию. От «звездочек» вниз...

ОТ «ЗВЕЗДОЧЕК» ВНИЗ...

В детском саду каждого второго мальчишку как нарочно звали Сергеем и к появлению Серёжи Маркова почти все производные от этого имени были безнадежно заняты.

В купленной «на вырост», или перешедшей от старшего брата байковой рубашке щеголял конопатый «Серж», походивший на гусара не больше шолоховского Мишки Нахалёнка. К тому же, в играх «в немцев и партизан» ему, наверное из-за инородного прозвища, никогда не находилось места среди своих, в красном строю. «Серж» дулся и уходил к девчонкам лепить из песка куличики. Это при том, что в большинстве детских игр в «войнушку» немцы расстреливали партизан и те умирали – гордые и непокоренные; немцы, при этом, фактически побеждали, но считалось, что на самом деле проигрывают. Наверное потому, что всем с малолетства был известен исход войны... Зато «Серж» был абсолютно незаменим в скачках на ночных горшках. Его горшок с паровозиком, что символично, в отличие от прочих, украшенных ягодками, грибочками и заячими семействами, даже во время простоев всегда оказывался на треть корпуса впереди эмалированного ряда, единственный без крышки, будто в мороз без шапки; лихой, отчаянный горошок-победитель.

Мальчик по прозвищу «Серый», как типаж, куда больше товарища «попадал» в ожидаемый образ, благодаря глубоко посаженным небольшим, «копеечным» светло-карым глазам и характерной стрижке, короче которой в саду не было, пожалуй, ни у кого. Конечно, не помешала бы фикса, но, вот беда, крепить ее было не на что, а носить в спичечном коробке вместе с дружно, как по команде, выпавшими молочными зубами было бы «западло». Точнее – «шапатло». Звонкие согласные повиновались «Серому» еще хуже, чем инурки на ботинках. Его звонкие согласные оказались самыми несогласными. В довершение образа «Серый» гениально плевался, что с лихвой компенсировало все его недостатки в лице отца – дирижера городской филармонии и матери – члена Бюро обкома партии.

Родителей «Серёни» никто никогда в саду не видел, даже не знали – есть ли они. Те, кому надо, конечно же знали, а редята – нет. В сад его приводила и забирала бабушка. Молчаливая женщина средних лет всегда, даже ранним утром, выглядела уставшей и вечно торопилась. Внука, однако, не подгоняла, терпеливо помогала ему раздеться, переобуться, лишь чаще других поглядывала на часы и нервно покусывала верхнюю губу, словно с трудом сдерживала слёзы. Возможно, так на самом деле и было.

«Серёня» не выговаривал еще больше букв чем «Серый», хотя с зубами у него было все в порядке. По крайней мере, что касалось количества. Росли они, правда, совсем для зубов нетипично: стартовали, похоже, одновременно, рванули на волю, вверх, нещадно расталкивая друг друга, отвоевая жизненное пространство, и замерли вдруг, неожиданно. Кто куда заторчал, тот там и остался. Заключительная сцена из «Ревизора». При этом «Серёня» обожал улыбаться, что называется, во весь рот и во время групповых фотографирований норовил оказаться прямо по центру. На большинстве снимков его нет – специально подгадывали, когда «Серёня» болел, а крепким здоровьем он не отличался. Зато он знал удивительные подробности о подвиге Александра Матросова и щедро делился ими с друзьями. Щедро, шепеляво, немного картаво, а некоторые неудобные буквы опускал – «проглатывал». «Серёне» все время мешали разные буквы и, благодаря это непостоянству, после четырех-пяти повторений история представлялась полной и понятной.

«А тут он, такой, как бросится, как закричит на немцев: «Я – Матросов! Я пионер-герой! Понятно вам, фашисты?!» Они, такие, как побегут... А там Чапаев, такой, в бурке, и с Петькой, и с пулеметом таким...»

Разумеется, это фрагмент.

Время от времени, как правило, после очередного героического кино по телевизору, подвиг Матросова обрастал дополнительными подробностями. Особенно всем запомнилось как «пионер-герой» торговал в разведке «славянским шкафом с тумбочкой». Теперь уже вряд ли кто вспомнит, кому он их предлагал. Не Чапаеву – это точно.

«Серго» почти идеально соответствовал представлениям о своем знаменитом тезке, он табуреткой плющил в столовой чайные подстаканники и ломал алюминиевые ложки почти что в промышленных масштабах. За это его регулярно ставили в угол и нещадно драли за уши, большие и оттопыренные. Всю жизнь Марк с улыбкой вспоминает «Серго», стоит мелькнуть на телеэкране наивной рожице Чебурашки.

Особо запомнился день, в который «Серго» узнал, что главного организатора советской промышленности Серго Орджоникидзе на самом деле звали Григорием... Кто поднес парню эту пилюлю, и в связи с чем? Понятно, что не дети из группы. Наверное, чья-нибудь старшая сестра, подражая родителям, решила произвести впечатление, блеснуть эрудицией. Взрослые все-таки осмотрительнее. Тоже, конечно, «те еще» разрушители детских мифов, но чтобы вот так, без всякой корысти...

Неизвестно почему, но «Серго» сразу в услышанное поверил. Таких слез Марк никогда больше в жизни не видел, каждая – натурально с горошину. И ведь чего, спрашивается, ревел? Детсадовский «Сергея», к примеру, был Толиком, фамилия у него была – Серегин и брат-близнец Сережа. Зато ни у кого из них не было прямо по центру лба был такого выдающегося вихора, как у «Серго» – настоящий водоворот из волос. За такой, даже меньший, лично маленький Марков примирился бы с именами Костя, Петя, Сёма и даже Адик.

Адик, лихой пьяница, жил в подъезде, где обитало семейство Марковых. Мама прозвала его «маленьким Адом». В день скромных похорон Адика, замерзшего в сугробе и подобранного снегоочистительной машиной, довершившей все то, с чем не справились водка и холод, соседи узнали, что по-настоящему, то есть по паспорту его звали Адольфом.

«А я с ним как с братом... – слезливо, с обидой на усопшего ныл один из его вроде бы близких друзей, – а он, сука, как Гитлер...»

Однако, от поминального стола ни он ни другие товарищи Адика, так разочаровавшего всех посмертно, не отошли, но наливать себе стали чаще и пили с особым остервенением.

Короче говоря, для любого Сергея вакантным в саду оставался только "Сергунька", на которого Марк категорически и сознательно не реагировал.

Надо сказать, что это ласкательно-уменьшительное – не имя даже, а имечко – совсем не подходило пареньку, внимательно и, возможно, слишком серьезно для своих лет наблюдавшему за новым окружением – людьми большими и людьми маленькими. "Сергунька" бесповоротно отпал в первый же день, отсох как неснятое яблоко.

С неделю воспитательница звала его по имени и фамилии через паузу.

«Сережа... Марков!» – кричала она.

От необходимости произносить лишние слова до хрипоты натруженным горлом, у нее еще больше портилось настроение, а может и целиком весь характер, и младшей группе становилось ясно, что никаких послаблений в тихий час не предвидится. Значит, опять придется лежать два часа молча, натянув к самому подбородку вытертые бледно голубые одеяла и рассматривать на стенах и потолке причудливые каньоны трещин, холмы и долины, возникшие на местах отвалившейся лепнины, чудом уцелевшую голову льва с отбитым носом.

Лежать полагалось на правом боку с ладошками под головой и лев из угла пристально смотрел Маркову прямо в глаза, безмолвно порицая за то, что из-за его расхожего имени никто теперь не может ни поболтать, ни подражаться подушками... Сережа под этим недобрый, осуждающим взглядом жмурился, натягивал на голову одеяло, поджимал ноги, чтобы не торчали из под короткого куска фланели, и нередко засытал.

В «Марка» Серезжу Маркова переименовал детсадовский истопник. Конечно и раньше, время о времени, дворовая шпана окликала соседа подобным образом, двор тоже не испытывал дефицита в Сергеях, однако новое имя, которое не просто прижилось – приросло к нему так, что и родители перестали называть по-другому, он все-таки получил именно от истопника, когда остался на ночь в детском саду, единственный из детей.

В спальне было темно и одиноко, страшно от одиночества и темноты. Страшно было лежать с закрытыми глазами и угадывать в темноте презрительно кровожадную морду льва, еще хуже – перевернуться на другой бок, оставляя коварного хищника за спиной. Но больше всего пугали звуки. Откуда они доносились – с чердака, из под половиц? – не угадать, но злое шепот неминуемо приближался, стоило только закрыть глаза. Серезжа пристроил подушку к изголовью кровати почти вертикально и сел, закуклившись в одеяло, подтянув колени под подбородок, даже пальцы ног поджал что было сил, чтобы не пооткусывала подлая нечисть. Шепот почти стих, зато послышалось шарканье, совсем не похожее на перестук невысоких и сильно стоптанных наружу нянечкиных каблучков. Синяя «ночная» лампочка перегорела две недели назад, и возможно к добру, неизвестно, что лучше: густо-серая тьма, позволявшая скорее по памяти угадывать аккуратно застеленные, рядом выстроенные кровати, или сине-фиолетовое свечение, превращавшее лицо мирно спящего соседа в чудовищную маску, хуже настоящего черепа, который Серезжа видел недавно в краеведческом музее... Правда, сейчас в спальне он был один-одинешенек, всех детей по домам разобрали.

дверь заскрипела, было ясно, что ее открывают, причем в коридоре тоже не было света, иначе Марк как и раньше видел бы желтую полосу по низу дверного проема. Он так плотно зажмурился, что ресницы тут же намокли.

– Чего совой сидишь, не спишь что ли? – услышал Сергей голос из темноты дверного проема. Он не смог ответить сейчас же, только пискнул – дух перехватило от радости, таким хорошо знакомым оказался голос. За спиной прищельца, где-то под потолком, наконец-то опомнился маленький пасынок солнца, и громоздкую фигуру в дверном проеме будто кто-то обвел желтой гуашью. Лица с места Марка было не разглядеть, но и так было ясно – кто пожаловал в спальню младшей детсадовской группы.

Истопник.

Блестевшая в электрическом свете, будто салом натертая, лысина, пище ладанок и чеснока распугала всех демонов ночи.

– Не сплю! – наконец со второй попытки отчеканил Серезжа, стараясь звучать погромче и пободрее. Получилось так, словно отрапортовал об удачном выполненном задании, Гагарин покраснел бы от зависти.

– Тебя как зовут-то?

Истопник, побряхтывая, сперва влез на табуретку, потом, опасливо проверив на прочность тумбочку, взгромоздился на нее, без всякого результата покрутил туда-сюда синюю лампочку, ввинченную в патрон наискосок от кровати Сергея. Тому было слышно, как внутри стеклянного брюха что-то хрустнуло, отвалилось и зажгло отдельной, теперь уже бесполезной жизнью. Истопник что-то пробормотал, наверное не для детских ушей.

– Марков, – назвался Сергей тоном уже поскромнее, думая о том, что если бы он был родителем своих родителей, то ни за что не оставил бы их одних на ночь в детском саду, пусть даже вдвоем.

– Марком так Марком. Из евреев что ли? Хотя, мне до этого дела нет, мне нет... – истопник еще более неуклюже, чем добирался до лампочки, проделал обратный путь. – Ну, давай, Марк, пошли за мной в кочегарку, а то обоссешься тут один со страху, нянькам потом – стирай за тобой...

делать им больше нечего, нянькам, как стирать за тобой.

Сергей не поверил своим ушам. В кочегарку никого никогда не пускали. Строго-настрого. Все, что происходило за обитой мятым железом и крашенной-перекрашенной дверью, было окутано недоброй тайной. Потому ребетня при любой возможности старалась оказаться поблизости от «недоброего» места, выжидая, когда истопник распахнет дверь, а из дверного проема на улицу вырвется таинственный дух, от которого следовало удирать со всех ног и с визгом. На самом деле, ничего таинственного в этом духе не было – пахло как из валенок самого старшего Маркова, приставленных к дачной печке после прогулки по зимнему лесу. Только странно: насколько уютным, домашним казался там Сергею этот крепкий и терпкий запах, настолько же тревожным, угрожающим он становился в самом глухом углу детсадовского двора. А еще из под двери кочегарки зимой вырывались густые, плотные клубы пара, словно не комната это была, а гигантская, чудесным образом перевернутая кастрюля, выдыхавшая из под оказавшейся снизу крышки жаркие, мокрые белые облака. Уж какое такое варево в ней бурлило в перевернутом-то виде... Серёже Марову для описания его собственных жутких фантазий не доставало слов, а до первого, смачно, в растяжку произнесенного матерного, ему еще было шагать и шагать. дней десять, возможно чуть дольше – недели две.

Путешествие в кочегарку выходило пострашнее, чем сон в одиночку спиной ко льву. Правда, сам детсадовский истопник – большой, косолапый, как медведь, добряк, навечно пропахший дымом и чем-то прокисшим – никак не вязался с ужасами, рассказываемыми про кочегарку мелюзге ветеранами сада из средней подростковой группы.

– Ну, шевелись, поживее давай... Портки брось, не надевай, там у меня теплей, чем тут. Закутайся, вон, в одеяло, и шагай. да куда ты без валенок- то, оболдуй! Босой он, смотрите, по снегу решил побегать... Какие тут твои-то? На вон, эти бери...

Когда истопник дотопал по вертлявой тропинке до своей конуры, мальчишка уже подмерзал в одеяле возле тяжелой двери, тщетно пытаясь сдвинуть ее на себя, забыв в одночасье все страшилки, связанные с этим нечистым местом. Позабудешь в такую-то холодрыгу.

Внутри, слева от двери, гудела топка, жадно поглядывая красным глазом через щель в заслонке на бесформенную кучу угля. Стоило только появиться мальчишке, еще дверь не закрылась за его спиной, как топка буквально взвыла «Не смей брать мой уголь!». Он даже попятился, но недалеко, шаг только сделал и уперся спиной в колени истопника. Воткнутая сбоку лопата поблескивала необычно длинным, отполированным кривым черенком... Только слепой не признал бы в ней ведьмино помело... От догадки Сергей оторопел и застыл на месте, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не зажать рот ладошками, но тут истопник, все еще оставшийся на пороге, позади гостя, положил ему руки на плечи и легонько, коленом, направил вперед. дверь за спиной скрежетнула жестью и окончательно отсекала лунный свет, оставив его снаружи пугать мрачными тенями запоздалых прохожих, тормошить поэтов и проказничать с лунатиками.

«Лопата как лопата, никакого не помело. Еще вон и трещина на ручке», – убеждал себя мальчуган, но пару раз все-таки оглянулся опасливо.

Теперь инструмент показался ему древком флага, сорванного в бою на баррикадах, как в кино про маленького Гавроша.

«Вот бы меня так назвали... Гаврош!»

За первой комнатой оказалась вторая, значительно меньше. Застеленная раскладушка прислонилась к стене прямо напротив открытой двери, сбоку – добротный деревянный ящик с набитым поверху квадратным куском линолиума «под паркет», на нем поллитровая стеклянная банка почти доверху забитая окурками самокруток. Замусоленные, желтые с детский ноготь комки неизвестно чего, только запах и выдавал их исполненное предназначение... Стул на вполтину спиленных, под высоту ящика, ножках... Этот предмет мебели утратил изящество изначальной пропорции и теперь нагло торчал круто согнутой ореховой спинкой, похожий на карлика Васю из соседнего двора, который всегда судил дворовые футбольные

матчи, и вообще проводил с детворой куда больше времени, чем со сверстниками. Как-то Марков старший обмолвился, что ходил с Васей в один класс... К стене были прибиты две небрежно острюганные полки для банок-склянок, пустых и полупустых бутылок, расположившихся пыльным и нестройным рядком.

Прямо над головой Сергея кто-то неаккуратно прорезал дыру размером с футбольный мяч и забрал ее мелкой железной сеткой, прибитой прямо к деревянному потолку. Гвозди, наверное, поначалу надеялись высвободиться, извивались по всякому, но без рук и на одной ноге не очень-то повыкручиваешься, так, в конечном итоге, ничего у них не вышло, только торчали после всех своих устремлений вкривь-вкось. Похоже, сетку прибили давно, на нее налипло такое количество пыли, что подрагивая и покачиваясь она напоминала водосли в мелководных протоках на Селигере, недалеко от родительской дачи. Только селигерские водоросли были темно-зелеными или рыжими, если, как говорил отец, вода протекала через торфяник, а вот их потолочная разновидность колыхалась серыми, давно нечесанными и немытыми прядями.

«Воздухоросли...»

Из дыры в комнату сильно тянуло холодом. Ледяной воздух стекал с потолка на пол и уползал в темный угол, где, судя по торчащей щеколде, было что-то наподобие подпола. Казалось, что морозит он хлеще, чем на улице. Скинув валенки и неспешно пройдясь по комнате, Сережа выяснил, что мороз протекает по ней будто ручей, и если стоять на «берегу», то даже босым ногам тепло и уютно.

– Не топчись тут, застудишься, подтолкнул его к раскладушке появившийся за спиной истопник. – Ложись давай, Марк, и спи... Вот же имя чудное. Тебя дома-то как зовут, неужто Марком?

– Пятачком, – не подумав сказал Сергей стыдную правду и залез под стеганное одеяло.

Истопник прикрыл ему ноги своим ватником и с хрустом в коленях тяжело уселся на низкий стул. Стул скрипнул, но в целом на удивление бодро перенес встречу. По лицу истопника было ясно, что домашнее прозвище нравится ему еще меньше имени, и Сережа подумал, что может быть стоит обидеться на него за родителей, хотя сам он не раз и не два умолял их не называть его Пятачком, особенно на людях. Обижаться не стал, «еще выгонит на мороз», но в отместку решил утаить свое настоящее имя.

Сделать это было легко. Положив руку на сердце, «Марк» ему нравился больше Сергея, от которого, что во дворе, что в саду, прямо в ушах звенело. Оно будто создано было для того, чтоб кричать в форточку «Сергей, домой!». А Марком в его окружении никого не звали. да и было это имя коротким и звучным, как удар молоточка со штампом по почтовой квитанции. С недавнего похода с мамой на почту Сережа стал тайно мечтать о синих нарукавниках и таком вот железном молоточке, хотя вслух по-прежнему причислял себя к будущим космонавтам, чувствовал разницу...

Он не сомневался, что мама, если и согласится с новым именем, то непременно и незамедлительно изобретет какого-нибудь «Маркушу». «Не беда, – решил с оптимизмом. – Главное, что «Пятачок» окажется раз и навсегда на помойке, а это уже кое-что». И вообще, новое имя звучало «сильно по взрослому». Заснул он уже Марком.

Проснулся мальчишка от тревожного шума, от взбудораженных голосов, прорывавшихся внутрь прямо между досок, в тех местах, где повывала старая пакля. Потом лягнула, заскрипела дверь и «весь этот неожиданный переполох» вломился в кочегарку, как товарный состав в сарайчик для дров. Банка с бычками подпрыгнула, глухим стуком обозначив удачное приземление – пережила, а постоялец в долю секунды переместил телогрейку истопника с ног на голову, затаился под ней, наскоро перебирая все памятные проделки за свою недолгую жизнь.

– да ты совсем мозги... пропил я тебе... голову отвинчу алкаш ты старый вот этими самыми руками ты... у-у-у! меня пойдешь бутылки у ларьков подбирать урод да... я чуть...

не помрела со страху... да как ща дам по башке лысой обоим... Обоим башки! Посвинчиваю! – нянечка кричала на одной высокой ноте без интонации. Паузы между словами рождались стихийно, там, где перехватывало дыхание. Разобраться в этой белиберде было непросто. И слава Богу, не то Марк наверняка бы со страху описался, а начавшаяся с такого позора жизнь под новым именем никак, ни при каких условиях не могла бы сложиться удачно. В таком случае, один путь – назад, в Середи и Пяточки. Что тоже, по понятным причинам, было исключено.

Истопник как заведенный повторял одну только фразу, негромко, зато внятно: «да тут твой Марк, чего ему сделается».

Окна в комнатенке не было и Марк не знал – ночь на дворе, или уже утро, но судя по тому, как сильно хотелось спать, до утра было еще далеко. Истопник в тулупе и нянечка в белом халате поочередно валились туда, где Марк лежал под телогрейкой на правом боку, с ладошками под щекой и крепко зажмурившись. Он был уверен – чем крепче жмуришься, тем глубже кажется проверяющим твой сон.

– давай, Марк, вставай, – потерял его истопник за плечо и потянул вниз телогрейку.

Марк медленно, как бы нехотя, открыл глаза и натурально зевнул, а истопник обернулся к тяжело, с хрипами дышавшей нянечке, почти такой же большой и грузной как он сам.

– Видишь?! – рыкнул он по-медвежьи. – Говорят же тебе, тут твой Марк, а ты орать... И вообще, нечего тут орать! Не у себя! У себя там ори!

Выглядел он недовольным, грозным, и Марк ни в какую не ожидал того, что произошло в следующее мгновение: истопник звонко шлепнул нянечку по самой выступающей и массивной части тела... Хорошо знавший нянечку, скорую на «расправу» за невылитый ночной горшок и невычищенные перед сном зубы, парень готов был нырнуть с головой под одеяло, чтоб за компанию не перепало, но все пошло не по правилам... Странное дело... Нянечка, мало того, что не захала кулачищем истопнику в глаз, именно такую развязку предполагал Марк – Танька Смолина, например, всегда отвечала ему именно так на щипки и дерганье за косы, – еще и утихомирилась, голос ее зазвучал теперь совсем по другому.

– За руками смотри, пень старьей, туда же он...

Она подняла Марка, закутанного в одеяло, из постели, прижала к себе, приняла от истопника свисавший до пола ватно-стеганный «хвост» так, что Марк очутился словно в теплом конверте, и вышла на освещенную фонарем снежную тропку, ведущую к основному зданию. Шагов через десять приостановилась, но оборачиваться раздумала, бросила через плечо:

– Валенки давай неси... Минут через двадцать. Раньше не приходи!

От нянечки сильно пахло луком и этот запах, сам того не желая – ничего ведь не выгадал, – перебил детское любопытство. Иначе Марк обязательно бы спросил: «Почему через двадцать минут, а не сразу?»

Кутаться на своей постели в огромное и тяжелое стеганое ватное одеяло, как дома, оказалось сплошным удовольствием; истопник был прав – в детской спальне и впрямь было намного холоднее, чем в кочегарке. да и от другой напасти Марк оказался защищен лучше обычного... Лев. Зверь выглядел озадаченно, изучая явление: мальчишка тот, а запах другой – тревожный запах, запах силы...

«Сморти – смотри... Такое не прокусишь!» Марк демонстративно повернулся спиной к хищнику.

От проявленной смелости, граничащей с безрассудством, спать расхотелось и он стал думать сперва о Гавроше, потом об Александре Матросове, о завтрашнем утре, когда родители приведут всех его друзей и он будет рассказывать им о ночном приключении. Они сперва, как всегда, не поверят, а потом увидят бордовое одеяло, пропахшее дымом...

«Надо будет упросить истопника, чтобы пустил на глазах у всех в кочегарку... Главное, чтобы Танька Смолина видела...»

А еще Марк вживался в образ обладателя уникального опыта: только он видел, как нужно успокаивать самую скандальную из ночных нянечек. Он вытаскивал из под одеяла правую ладонь и рассматривал ее долго и внимательно. Маленькая, бледно-голубая в начинавшем истаять лунном свете, она выглядела не очень-то убедительно, особенно по сравнению с лапищами истопника... Чтобы не поддаваться проныраам-сомнениям, Марк поскорее засунул руку назад под одеяло и попытался представить себе ту часть нянечкиного тела, которая не помещалась целиком даже на «взрослом» табурете в игровой комнате, и по которой предстояло шлепнуть, как следует размахнувшись... Он подумал, что обязательно поделится с приятелями своим удивительным открытием. Открытым остался вопрос: стоит ли все, что знаешь, пробовать самому?

«Гагарин, к примеру, летал на ракете, а сам ее не делал! Тот кто делал не полетел. Первым точно не буду, двадцать минут, наверное, уже прошли.»

Марк спустил ноги с кровати и, волоча за собой одеяло, на манер королевской мантии, направился к двери. За два шага до нее разговор был слышен вполне отчетливо, ближе можно было не подходить.

– ... хороший парень, свой в доску. Ты его не ругай, смотри, Марка-то.

– Закусывай лучше, а то глаза уже оловянные... Марков он... Мар-ков. Что-то ты слабый стал. Или на старые дрожжи?

– Так и я говорю Марк... Ну чего...

– Вот ты неумный... Руки приברי. да пусть хоть Марк... На вон колбасы еще, зажуй. да погоди, говорю, а что если не спит этот твой... да ты...

Подсматривать в замочную скважину Марк не стал, незачем: «Что я, не видел как люди едят, что-ли?» Он развернулся и на ципочках, быстробыстро, добрался до своей постели. Через несколько минут он уже спал, смущая улыбкой окончательно приунывшего льва. Марку снилась большущая синяя собака, добрая и очень теплая, стоило только к ней прижаться, он всегда такую хотел...

Через много лет Марк, закончив истфак, но застряв надолго на перепутье между журналистикой и литературой, напишет сказку о синей птице, которая так сильно любила людей, что днем и ночью, буквально сутки напролет, одаривала их счастьем, и они перестали его замечать. Мало им стало счастья – возжелали блаженства. Так начались бесконечные «счастливые войны», и блажен становился лишь тот, кто не дожил до конца смертоносных битв, остальные были счастливы вкусу воды на пересохших губах. А синюю птицу Небеса превратили в собаку и теперь она могла помочь только одному маленькому мальчику – сироте по имени Марк, только его суждено было ей защищать...

Откуда ему было знать, что примерно в то же время, когда он вез сказку редактору, вечером, в середине февраля, обычная, ничем не выделявшаяся среди своих сородичей цыганка гадала возле выхода из метро «Парк культуры» маме семилетней девочки с необычным для москвички двоящим именем. Та вцепилась в родную теплую руку и наблюдала огромными сине-сереневыми глазами за грязноватой теткой. Когда цыганка возвышала голос, малышка встряхивала не поместившимися под лыжную шапочку вьющимися локонами и, казалось, глаза ее, с отражавшейся в них буквой «М», распахивались еще шире.

«Жди странную синюю собаку, что явится тебе и молча представится как Поводырь. Ты ей верь. Она отведет тебя, но не туда, куда тебе хочется и где тебя ждут, а туда, куда сказано тебя отвести. Собака – она подневольная, как и ты, как мы все. Там, куда тебя отведут, тебе не понравится. Не скорее всего не понравится, а не понравится, не сомневайся. Можно будет уйти, держать тебя там не станут, но ты все равно останешься, потому что уйти не будет означать вернуться. Нет такой дороги – обратно, как ни ищи, даже если шаг в шаг весь путь назад пойдешь. Не выйдет обратно, золотая моя. Поймешь. А за дочу не пугайся, будет она частью разных чужих жизней, как ты сейчас. Мы ведь тем и живы. А

как выпадем из чужих жизней – и нет нас... Не бойся за дочу, родненькая, мартовские рыжие долго-долго живут...»

«Я не рыжая», – скажет цыганке девочка, без тени каприза, просто правду, и подумает, что до дня рождения в самом деле всего месяц остался. Она ненадолго выпустит мамину руку, чтобы поглубже натянуть шапку на лоб и на уши. Пришитая к макушке сине-голубая косичка с кисточкой на конце сделает полкруг, как сиденьце на цепной карусели, и мягко шлепнет девочку по губам.

«Ступайте милые, денег мне не давайте, от вас не возьму...» – услышит она цыганку.

Через пять дней мама девочки, возвращаясь с работы и поджидая троллейбус, увидит как в шаге от нее крупный щенок в синем стеганом комбинезоне, беспечно пронесется, волоча поводок, прямо на запруженную машинами набережную. Повинуясь инстинкту, женщина не задумываясь наступит поводок и попадет каблучком прямо в петлю на его конце. Щенка по инерции развернет на сто восемьдесят градусов и он с такой же целеустремленностью рванет в противоположную сторону, к скверу, а женщина, потеряв равновесие на обледенелом асфальте, упадет и ударится головой о бордюрный камень.

После трех недель, проведенных в коме, она уйдет насовсем, а девочку, росшую без отца, бабушек и дедушек помытарят по детским приютам в ожидании дальней родни, но родня не объявится, хотя, может статься, и не дошли до нее печальные новости. Её поместят в детский дом, далекодалеко от Москвы, в Белоруссии, на самой границе с Польшей. Она долго не сможет освоиться, на руках, щеках, животе появятся рубцы, ссадины и царапины от близких знакомств со сверстницами, но раны будут заживать удивительно быстро и, что еще удивительнее – исчезать без следа. Вместе с ними – недоверие и вражда окружения.

Через год девочка заявит своей воспитательнице, что имя Анна- Мария ей не нравится, не подходит, и она хотела бы стать Мартой. Усталая пожилая женщина подумает, что нет смысла спрашивать, почему именно Мартой, не к такому привыкла: «Ну спрошу?! Нагородит в ответ чего-нибудь, пугалица, все равно до настоящей причины не докопаешься». Воспитательница кивнет в ответ и запишет новое имя в тетрадь, чтобы не забыть предупредить других педагогов. Не справившись с раздражением до конца, уже в спину воспитаннице проворчит недовольно: «Марта... Или ты! Не бывают Марты с такими прическами.» девочка не остановится, не оглянется, подумает «Всё наоборот, это Анны-Марии так не стригутся, а для Марты – самая что ни есть подходящая прическа», но с этого дня перестанет брить голову. Отросшие волосы покажутся ей немного светлее, чем она помнила, в них появится едва заметная блуждающая рыжинка. Легкая, непостоянная, будто светлячки заблудились. А потом ее заберут в семью.

... Марку снилась мама, ласковый папин голос издали, без лица, а синяя собака все время была где-то рядом, он чувствовал ее, даже когда не видел, вплоть до самого утра.

Через неделю Марка никто по-другому не называл. Отец, в первый день выслушав мамины возмущения – «Что они там себе позволяют? Все-таки мы – родители, и это наше дело, как называть сына!» – рассудил, как всегда, с примиряющей всё и вся улыбкой:

– Мы и назвали, никто ничего не меняет... Марк... А что? Мне нравится. Меня, кстати, весь двор в детстве звал Марком. И ничего, хуже не стал.

– Ну не знаю... – пожала плечами мама.

В своё время, на расхожем имени категорично настояла её свекровь – Сергеевна. Мама с ней никогда не ладила.

Пока дома на кухне продолжались, тлели дискуссии, сам Марк в детском саду-пятидневке окончательно обрел новое имя и нового друга – истопника, поспособствовавшего установлению «особых», доверительных отношений своего подопечного с садовским водопроводчиком дедом Славой и Витюней – шофером голубого фургона, моряком-североморцем, призывшим в сад еду. Тот щеголял в такой же тельняшке как старший брат Марка. Благодаря

плотной опеке со стороны старших, в лексику мальчишки прокрались словечки, легко размывавшие образ воспитанного ребенка из интеллигентной семьи. Ни часы, проведенные в углу, где он выстаивал за «плохие слова», ни полдники без компота – настоянной на сухофруктах воды провинившегося лишали по той же причине, ни драматичный семейный совет... ни в какое сравнение не шли с завистливыми и уважительными взглядами сверстников. даже «Серый» не мог, как ни старался, так же скупно, с прищуром, сплевывать и цедить сквозь зубы: «Срань мышьяная, кто так палубу драит! Шлангуешь, падла?» Марк в этом был гениален. даже лев стал поглядывать в его сторону с уважением, а порой и с опаской. Это было признанием. Кто может похвалиться тем, что в неполные четыре года уже обрел репутацию?

В один из выходных дней, в квартиру Марковых доставили цветной телевизор, «Рубин 714», и младший Марков так нетривиально и лаконично, одним лишь словом, единственным восклицанием высказал свое восхищение, что на следующий день его навсегда забрали из сада. Со скандалом забрали.

«Такое впечатление, что мальчик не в саду воспитывается, а дни напролет простаивает с кружкой у пивного ларька! Завидную судьбу вы детям готовите! Я этого так не оставлю!»

И так далее.

Маме было особенно горько от того, что её мечты о скорой защите докторской диссертации составили компанию «Пятачку» в недалеком, но невозвратном прошлом.

– Интеллигенция, – вздохнул вслед Марковой источник, спешно вызванный директором на роль объекта для адресной критики. На свой счет принимать гневные речи руководитель детсада считала неблагоприятным. – Понимали б чего в завидной судьбе... А туда же, жизни учить... Одно слово, евреи и есть, загубят теперь хорошего пацана...

Вернувшись домой, мама строго-настрого сказала Марку:

– Все сын, теперь все будет по новому. Запомни, будет из тебя человек!

– Ни фигу не будет... – сквозь слезы просопел обиженный на весь белый свет Марк. – Моряком буду, как Витюня.

ПОДВОДНИКИ

Я вспомнил Мишку-моряка из своей очередной послеразводной коммуналки, знаменитые «дуэты» на общей кухне...

– Ах ты, поганец, смореть на тебя противно! Самому небось не противно?! – орала Мишкина жена.

– А чего противного-то, не с проституткой же, – отбрехивался лениво Мишка. – Тоже, между прочим, жена...

– Чужая, урод! Чужая жена-то! – срывалась на визг моя неуровновешенная соседка, не желавшая ничего понимать в мужской логике.

– Так и я не свой был... Сильно выпимши... Не помню даже... Может вообще дверь перепутал, думал – ты это... Еще удивлялся, что не орешь... В смысле, до...

Встречаясь в коридоре или на кухне, соседки – Мишкина жена и секретарша из средней серьезности учреждения привычно одаривали друг друга ненавистными взглядами и принимались глубоко и шумно дышать, думая, наверное, что так должны выглядеть неприязнь и надменность. Секретарша была известна в квартире как «сука брошенка», её муж хоть и был вписан в паспорт и в домовую книгу, но иных следов существования этого человека никто из жильцов не наблюдал.

Иногда пыхтения и взглядов оказывалось мало, и вход шло словесное подкрепление:

– Убью сука! Брошенка! Только глянь еще раз в сторону моего мужика!

– Убьешь, сука? Брошенка? – секретарша по профессиональному обыкновению повторяла услышанное, изменяя лишь интонацию.

Легко было представить себе как она переспрашивает начальника во время диктовки – также бесстрастно, по-деловому: «Сто тридцать шесть человеко-лопат?» Не знаю, что обычно диктуют секретаршам в средней серьезности учреждениях. Про крайней мере, в рабочее время...

– Я сука... – позволяла себе секретарша временное допущение. – Тогда, кто же ты, если кобель от тебя, как от кнута бегаешь? Да и кобель у тебя – на второй раз никому не нужен... На третий уж точно, недоразумение одно.

– Вся многочисленная, на пять комнат, коммуналка, за исключением, пожалуй меня и Мишки, объявленного «недоразумением», что по его мнению, сводило вину «на нет», ждала Палыча, старшего товарища Мишки. Считалось, что только он и способен урезонить пьяницу и гулену. Раньше, по крайней мере, ему это удавалось.

Когда-то оба недалеко друг от друга служили срочную, на подлодках. Палыч остался на флоте мичманом, по меркам моей коммуналки – что твой адмирал, а Мишка «сошел на берег». С тех пор и чудил. Рассказывал зато – заслушаешься, не хуже пацанов ит детсада, где коротал свое детство неведомый Марк.

«...Слышу чужой эсминец... Пеленг даю, кричу «Залп!» И сам себе жму на кнопку! Как дадим гадам! А потом – всплытие, банкет... Ну все, как у нас, подводников, водится. Ордена там секретные, поросеночек с хреном, спиртик, девочки из столовой...»

Жена Палыча говорила – через неделю – дней десять муж дома «всплывет». Обещал.

Но на этот раз Палыч решил в коммунальные дразги не встревать. Он не всплыл, не выполнил обещания. Остался в апреле восемьдесят девятого, седьмого числа, если память не изменяет, на дне Норвежского моря вместе со своим «Комсомольцем». А может быть, и не седьмого, а раньше когда... Может быть, кто-то такой же как Мишка, отчаянный, упредил командира, надавил на главную кнопку? Кто скажет... У нас знание остается силой только до тех пор, пока держится в тайне. Флот – не исключение.

Десять лет спустя я совершенно случайно оказался возле своего старого дома и на выходе из «Продуктов» встретил вдову подводника. Предложив помочь с сумками, был, в итоге, внепланово усажен за стол, накрытый к «Дню памяти погибших подводников», о существовании которого раньше не подозревал. Вдова Палыча, я и вдова Мишки – выяснилось, что минувшей зимой и его не стало – тихо сидели на кухне, где ничего не изменилось, даже стекло в форточке, треснувшее еще при мне, за все годы никто не удосужился заменить. Выпивали молча, не чокаясь: сначала за Палыча, потом – за Мишку, опять за Палыча, снова за Мишку, за подводный флот... Потом, отчего-то, за секретаршу, «суку брошенку». На этот раз сложили стаканы до стука – вроде бы развелась со своим «привидением» и выходит, наконец, замуж «понаормальному».

Мне неловко было интересоваться, при чем здесь павшие подводники и Мишка, тем более что за «суку брошенку» я выпил тоже в охотку, поэтому интриговавший меня вопрос задал уже на улице, потревожив вечных полировщиц скамеек у входа в подъезд. Я этих бабок помнил, они меня – нет.

– Мишка? Да послали его, дурака, в котельную в подвале, чинить там чего-то, а у него с водой не заладилось. Все бы и ничего, так ведь закрылся зачем-то изнутри, а открыться так и не смог... Ну это... Когда трубу прорвало, затопило до потолка. Вот Мишка-то наш и утоп. Пьяный был, поди, как обычно... Думали, что с бабой, а он там один. У меня вон на первом этаже до сих пор плесень на стенах от этого безобразия и собаку в деревню свезти пришлось – выла. А вам, гражданин, зачем это надо? Чего это интересуетесь?

– Для дела. Не сомневайтесь, – сухо и веско ответил я и, стараясь ступать твердо, пошел вовсю, сожалея, что не добавил «Благодарю за содействие, товарищи». Так было бы еще солиднее.

Все прошедшие с той поры годы, если замечаю на апрельском календаре седьмое, непременно выпиваю стопку за погибших подводников и за Мишку, обещая себе выяснить, когда страна отмечает День работников коммунальной сферы, и есть ли такой вообще. Наверное, Мишка бы меня осудил: не дело герою-североморцу тесниться в одном строю с лифтерами и дворниками.

«Всё. Забыли», – обещаю ему и одним честным глотком опорожняю рюмку. Не чокаясь. Не с кем.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПАСТУХ

Пивная банка жила на столешнице своей жизнью, осваивая новые маршруты, практически без остановок. Будь она рейсовым автобусом, её бы возненавидели. Время от времени, когда лодка особенно резко заваливалась на бок, банка врезалась в невысокий бортик, придуманный как раз для таких ситуаций, кренилась... Вот-вот полетит на палубу, превратив напиток на час-полтора в начинку огнетушителя, если переживет падение. Недолгая жизнь, зато яркая – с пеной, брызгами, пузырями! И бесполезная.

«Одна из нас. Живи пока», – определил судьбу банки Марк, сунув ее назад в холодильник. Ясно – за что пожалел, непонятно – зачем доставал.

Телефон занудствовал как женщина за окошком администратора «Я- всо-тый-раз-о-бья-сня-ю-что-вна-шу-го-сти-ни-цу-толь-ко-по-бро-ни...» В отличие от неприхотливой бесхарактерной банки, он пытался бороться с качкой, настырно подползал к Марку, семафорил экраном, вызванил, вибрировал... Умел бы подпрыгивать и пускать дым – делал бы и то и другое; одновременно.

«Вызывает Пастух», сообщил экран.

«Овца на приеме», – ухмыльнулся Марк.

– Ян, – ответил он.

Утвердительно. Какие могли быть сомнения. Звонки англичанина, присматривавшего за лодкой, единственные, пожалуй, не раздражали Марка во время морских путешествий. Они не возвращали его на сушу с ее постылыми сухопутными проблемами, поскольку Ян был необъемлимой частью столь любимой Марком портовой жизни. И симпатягой, редким симпатягой.

– Марк, ты в порядке? Не занят?

– Занят собой: второй завтрак, первый пропустил. Закругляюсь уже. Стою у берега, примерно в часе хода от Сан-Ремо. Как на качелях... У тебя что? Только, прошу, «хорошо» или «плохо», никаких подробностей. Умоляю...

Марк ладонью прикрыл микрофон от ветра, который то и дело пытался влезть в разговор, неуемный, и представил себе ухмылку приятеля.

– Не молчи. «Хорошо» или «плохо»?

– Да.

Они были старыми приятелями, особенно на вкус тинейджеров. Ян недавно отметил пятьдесят восемь и был старше Марка на бесконечные девять лет, но три четверти жизни, проведенные на соленых ветрах Северной Англии, оставили на его лице не меньше следов, чем рыбацкие сети, крючки, ножи и острые плавники – отметин на руках. Морщины на лице Яна становились заметны во всем нескончаемом множестве только когда тот улыбался, а вот руки никогда не менялись. Ни одна гадалка не взялась бы распутывать хитросплетения природных и тудовых следов и отметин, тем самым судьба Яна была навсегда скрыта от посторонних глаз, но только не от него самого.

«Рыбак свою судьбу с детства знает», – как-то заметил он, когда нынешние друзья еще только сближались.

«Настоящий рыбак», – уточнил Марк, наверное хотел сделать приятное собеседнику.

«Ненастоящий – говно», – сказал тот. – Тоже судьба, но другая».

Каждый раз, здороваясь с Яном, Марк представлял себе, как сотни изломанных линий и шрамов впечатываются в его собственную ладонь, передавая бесценную информацию, находя-

щуюся так далеко за пределами слов, что можно всю жизнь подбирать ключ к ее расшифровке, но истинный смысл так и останется понят не до конца.

Сам Ян своих рук стеснялся, без нужды на показ не выставлял и любил приговаривать, что такие ладонями можно палубы драить не хуже, чем акульей шкуркой; лучше, чище и не останется запаха рыбы. С этим образом все легко соглашались, сравнение с наждачной бумагой было бы приземленным, очень прозаическим, руки Яна этого не заслуживали. Соглашались и хитро улыбались в предвкушении следующих минут. Сам же объект внимания принимал обреченный вид: ну что ж, принимайтесь острить, бездельники...

Была у Яна привычка: разговаривая, он часто проводил обеими руками по непокорным остаткам рыжей шевелюры, будто листья невидимые смахивал с облетающего куста. Ни у кого не возникало сомнений, что именно этот жест, а гены и возраст, згубил некогда буйные кудри, если верить семейной фотохронике. Иногда в компании, за выпивкой, когда Ян, оглаживая макушку, в очередной раз задевал Марка локтем, тот говорил ему: «Оставь уже свою палубу в покое, приятель, там чисто», кто-нибудь непременно добавлял, что «под палубой тоже». Вот такая «двухтактная» шутка – заезженная, но ненадоевшая. У неё был и свой обязательный финал, как титры в конце фильма – неизменный тычок большим пальцем в живот ближайшему соседу из своих. Обычно ближе других к Яну оказывался Марк. Он охал, сгибался, якобы, морщился; публика ахала, радовалась, и выставляла пострадавшему выпивку, будто не знала все наперед. Марк уважал отношение англичан к традициям, но думал о них исключительно как о «заморочках». Обо всех традициях, включая чай, дамские шляпки, разговоры о погоде, монархию и отношение к монаршей семье. Верность традициям забавляла его куда больше, чем они сами.

Если уж речь зашла о забавах, то лидерство среди них, по мнению Марка, бесспорно принадлежало «эпидемии» всеобщего похудения и борьбе за отказ от привычного, то есть нормального образа жизни в пользу здорового, то есть неведомого. Кстати, с точки зрения незыблимости традиций, установки на смену образа жизни выглядели, мягко говоря, не вполне логичным. Пессимисты, однако, осторожно предполагали, что их поколению не повезло – зарождается новая... Их не били только потому, что это ни на что не влияло; скучная прагматичная Европа.

Кишечной палочкой всходы новой традиции проникали в жизнь порта, унося каждый день очередного товарища, иногда – двух.

От всего есть сегодня прививки – от Гепатита, лихорадки, птичьего кашля, свиного насморка, сглаза... Но попробуйте отыскать вакцину против жены, которая разглядела единственную возможность гарантированного выживания своей второй половины в самой диете, скомбинированной с витаминами и в принципе непереносимой абстиненцией. Есть, разумеется, пара рецептов, но они все подсудны. С другой стороны, обычными средствами невозможно остановить женщину, сорвавшуюся в пике беззаветного служения мужнину здоровью.

ДИЕТА ВАЛЬКИРИЙ

Жена Яна вдруг вспомнила клятву, данную у алтаря, и решила всю себя, без остатка, посвятить здоровью мужа. Среди мотивов ее необычной целеустремленности могли также быть: телесериал, неожиданные перемены в редакционной политике единственного журнала, чтение которого было унаследовано ею по материнской линии, завистливая подруга, задумавшая разрушить брак, по причине того, что ее саму торопливо покинул муж, и она точно знала причину... Вряд ли наплевательское отношение самого Яна к ширине своей талии и весу сыграло хоть какую-то роль; Марк в это не верил.

Все знакомые Яна отнеслись к новости с пониманием, как к личной трагедии. Чутьё загнанных в угол подсказывало, что следующим будет кто-то из них. Несчастливого успокаивали, кто чем мог, большинство – ромом, все прочие – вином и пивом. Бывают моменты, когда мужчинам слова ни к чему.

Будучи женщиной собранной и несомневающейся в своей правоте – черты характера достойные судейской мантии, – Майра не стала задаваться вопросом «Болен муж или нет?», отнеся его к заведомо праздным. За неделю, после самонаведения на новую цель жизни, она изучила путем телефонного опроса все недуги многочисленной родни Яна, и вынесла вполне предсказуемый вердикт: «Абсолютно болен совершенно всем».

– Это диагноз! – сказал ей Марк.

– Да. Это диагноз, – легко согласилась Майра.

Они часто говорили друг с другом, но почти никогда – об одном и том же. Никакой новизны этот раз не внес.

С того дня мобильный телефон специально запрограммированным фрагментом «Полета Валькирий» регулярно оповещал Яна о необходимости принять очередную таблетку или витаминчик. Или порошочек. Или микстурку. Через минуту раздавался обычный звонок и бдительная супруга проверяла, услышал ли больной Вагнера и понял ли, о чем речь?

«Что было у этой женщины на уме, когда она выбирала такой «рингтон»?» Мелодия сильно озадачила Марка. «Видела себя девой-воительницей, уносящей с поля боя в небесное царство павшего воина? Хорошо, что на психфак не пошел. – Мучился бы сейчас бессонницей в переживаниях за жену друга, а так – сплю себе аки младенец».

Всё-таки он пристал с Вагнером к Майре и получил, что заслуживал: «Лучше не мешай».

Со следующего дня Валькирии были списаны в утиль, а телефон Яна взялся мурлыкать что-то такое пошло-гламурное, что и вторая половина семьи обратилась к Марку с аналогичной просьбой: «Лучше не лезь».

Случись Майре знать, что где-то рядом с ее кормильцем находится Марк, она строгим голосом напоминала Яну, что ни одна таблетка, ни даже ее половинка, четвертушка, крошка микроскопическая... категорически не совместимы с алкоголем. Глубину этого заблуждения трудно себе представить, Марианский жёлоб³ – обычный омут по сравнению с ним.

Марк лично проверял спорную гипотезу.

Блестящие коричневые шарики, как оказалось, отлично шли под светлое пиво – темные сорта он не любил, не стал даже пробовать. Желтый порошок без следа исчезал в бокале опять же светлого, но уже нефilterованного – там и без него было мутно. Ром убивал горечь крупных белых таблеток с иероглифом посередине, а второй глоток – «контрольный» – окончательно смывал аптечное послевкусие...

³ Марианский жёлоб – самый глубокий из известных на Земле. Его глубина составляет 10 971 метр. Находится на западе Тихого Океана. (Прим. автора)

– Пойми, чудак, во всех этих идиотских запретах, ограничениях, самоистязаниях мы теряем в себе че-ло-ве-ка! Убиваем его, горемыку, превращаясь в жилистую оболочку для засушенных зерновых и всякого пророщенного говна! – внушал приятелю Марк в заключительной фазе эксперимента. – Если бы за меня, к примеру, боролись хотя бы вполонину, как б¹орются... против курения... Где бы я сейчас был? Во-от!

Долго Яна убеждать не пришлось. По странному стечению обстоятельств, он самого начала интуитивно был на стороне Марка. А тут еще и серьезная доказательная база подоспела.

Спустя месяц позиционных боев с мужем и высказанным в категоричной форме нежеланием видеть его друга – «популяризатора распутства и пьянства» (распутство было придано пьянству исключительно для массовости), Майра посетила сеанс спиритизма и, пообщавшись, похоже, с кем то из покинувшей этот мир родни Яна, выяснила, что на самом деле все не так плохо. Зная ее упорство, Марк допускал, что духи были грубы, хамоваты и бескомпромиссны: «Стоп! Завязывай!» – по-видимому, услышала женщина окрик «оттуда». За те деньги, которые получил медиум, другого он и не ожидал.

От Яна отстали, взяв напоследок клятвенное обещание похудеть. «Это сколько угодно!» – бодро пообещал он и бодрым шагом перешёл в лагерь сострадающих.

Сомнение в необходимости Яну худеть, ошибочно высказанное непосредственно Майре, Марк оплатил смиренным выслушиванием нотации о губительности пренебрежительного отношения к собственному здоровью и недопустимости такого же отношения к здоровью чужому.

«И вообще, ты еще слишком молод, чтобы понять нас – стариков», – выговорила она Марку, будучи старше его максимум на год, а по паспорту – на семь моложе. Что может быть интернациональнее женских привычек? Разве что мужские...

Главное было в другом: Майра с Марком опять разговаривала.

ПАСТЕЛЬНЫЙ ТИП

На свой возраст Марк выглядел весьма и весьма неплохо. Худой, высокий, круглый год загорелый. Не сказать, что атлет, но сложен вполне «пляжно» – любимое словечко его последней пассии. Лицо приятное, особенно когда улыбается, но если что-то не по душе, взгляд становится жестким, пристальным, уголки губ едва заметно съезжают вниз, роняя складки к жесткому, рельефно очерченному подбородку, нос с небольшой горбинкой кажется чуть острее, а лоб – выше... Будто пересобрали: детали те же, а рисунок другой, узнаваемый, но другой. И даже когда происходит возвращение на «исходные», еще некоторое время, как бы по инерции, высокомерие не успокаивается и продолжает соперничать за линию рта с более слабой и поэтому миролюбивой надменностью. Марк о себе многое знает, поэтому он улыбчив. Светлые и густые выгоревшие волосы неплохо прячут обильную седину, но она находит отдушину в трехдневной щетине, обустроившей себе на хозяйском лице натуральный «английский газон» задолго до появления модных трендов, еще тогда, когда на границе требовалось неукоснительно соответствовать своей фотографии в загранпаспорте, а клеивать в документ небритые лица считалось преосудительным. Глаза серо-голубые, обычно немного прищурены из-за жизни на солнечном Юге, кажется что озорно...

«Палевый, серо-голубой, кофе с молоком... Очень даже пастельный тип», говаривала все та же девица.

Зная про два вида пастели – твердую и мягкую, Марк все же решил не уточнять – комплимент это или претензия? Подозревать в подруге эксперта по живописи не стоило, а просвещать в детали было долго и лень.

По-немецки с Марком не заговаривали только те, кто либо еще не овладел немецким, либо уже разок накололся.

– Достали. Выучу, – как-то пообещал он Яну.

– Испанский выучи... – посоветовал Ян таким тоном, будто сам был способен без разговорника заказать себе пиво.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.